

The book cover features a central white banner with a blue border. The background is a textured, yellowish-brown surface with a dark, wavy border at the top. Two small purple birds are depicted: one in flight on the right and one perched on a branch at the bottom. A small green leaf is visible on the left side.

СТАНИСЛАВ
ЛЕМ
**Высокий
замок**

Пперенести читателя в мир детства – задача, посильная только искусству. Станислав Лем отлично справляется с ней, размышляя вместе с читателем о таких вещах, с которыми, вероятно, столкнулся в своем детстве каждый, особенно если у него, подобно автору, было достаточно сильно развито воображение. И, возможно, еще не написанная «Сумма мальчишкологии» ничуть не менее важна и интересна, чем «Сумма технологии».

- [Станислав Лем](#)

-
- [Предисловие](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Послесловие](#)
 - [О «Высоком замке»](#)
 - [Четыре будущих Станислава Лема\[74\]](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)

- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)

- [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
-

Станислав Лем

Высокий замок



Предисловие

Теперь я вижу, насколько неудачной оказалась моя попытка выполнить то первоначальное намерение, с которым я садился за работу: довериться памяти, послушно отдаться под ее начало и даже, сдерживая эмоции, высыпать из нее, словно из кошелки, на стол все, что только со мной происходило, предполагая, что коль она удержала в себе все это, то, видимо, это было в какой-то степени важно и, быть может, именно поэтому мозаика воспоминаний, рассыпавшись, словно осколки цветного стекла из разбитого калейдоскопа, уложится в какой-то осмысленный узор и, возможно, даже не однозначный, а во взаимопронизывающее множество узоров, множество, в котором можно будет отыскать отдельные более упорядоченные участки, пусть даже только чуть-чуть обозначенные, содержащие в себе лишь намеки; и таким образом я не столько повторю в сокращенном ракурсе слов мое детство, представляющее сейчас в общем-то не более чем абстракцию как бы меня самого, но распыленного вдоль нескольких десятков календарей, вдоль всех их красных и черных листков, сколько благодаря такому приему набросаю портрет, а может быть, механизм памяти, которая ведь не является ни мною самим, ни совершенно чуждым мне идеально инертным хранилищем, емкой пустотой, секретером души со множеством щелей и тайников.

Она – память – не является мною, потому что представляет собой самостоятельную силу, не в тех же точно местах, что я сам, цепкую, не в тех же местах восприимчивую или безразличную: ведь она не сохранила в себе многое из того, что я хотел бы запомнить, и, наоборот, столько раз сберегала то, что интересовало меня менее всего. Поэтому гораздо больше, нежели себя самого, хотел я принудить к «даче показаний» именно ее, чтобы возникла ее биография, за которую, впрочем, я готов был взять на себя ответственность, хотя вовсе не распорядился и не распоряжаюсь своею памятью. Это должен был быть эксперимент, результатов которого я и сам ожидал с нетерпением, словно бы это не обо мне шла речь, будто источником образов и сведений должен был стать не я, а некто иной. Просто так уж случилось, что этот *некто* давным-давно сидел во мне, был как бы спрятан, наподобие того, как внутренние слои дерева, налившиеся соком во времена его детства и юности, окружены множеством наслоений периода зрелости. В таком смысле можно уже почти буквально принять, что то юное деревцо, которое росло десятки лет назад, укрыто в этом большом, старом.

Я действительно не знаю, когда меня впервые чрезвычайно удивило то обстоятельство, что я существую, и одновременно немного напугало то, что ведь вот меня могло вообще не быть или же я мог стать каким-нибудь прутиком, одуванчиком, козьей ногой или улиткой. А то и камнем. Порой мне кажется, что это было еще перед войной, то есть во времена, здесь описываемые, но я не так уж в этом уверен. Во всяком случае, это чувство изумления кануло в Лету, так и не перейдя в мономанию. Я подступал к нему позже с разных сторон, по-всякому к нему подбирался, порой бывало, что я уже начинал считать его полнейшей бессмыслицей, чем-то постыдным, предосудительным. Но потом опять всплывал вопрос: а почему, собственно, мысли текут в голове в ту, а не в другую сторону, что ими управляет и кто дирижирует? Некоторое время я довольно сильно верил, что душа, а точнее сознание, находится у меня где-то за носом, немного пониже глаз, сантиметрах в четырех или пяти от кожи. Почему? Не имею понятия.

Вероятно, это была «подфилософия», подобно тому как некогда, еще раньше, вместо мышления было какое-то «под-» или «предмышление». И это я тоже хотел вытрясти из памяти вместе со всем ее содержимым. Это должно было произойти само по себе, мой же труд – ограничиться исключительно воспоминанием, как бы встряхиванием этой метафорической кошелкой. К сожалению, из моей затеи ничего не получилось. Вижу, что хотел я того или нет,

вспоминая, я одновременно упорядочивал эти воспоминания, к тому же делал это так, чтобы они складывались в стрелки, достаточно определенно указывающие на меня, меня сегодняшнего, так называемого литератора, то есть человека, занимающегося одной из наименее серьезных и наиболее стеснительных работ: безумно трудоемким сочинительством, которое обычно характеризуют разными учеными или обозначающими неведомо что названиями, вроде «писательская кухня». Что касается меня, то никакой такой кухни у меня нет. Во всяком случае, до сих пор я ее не замечал. Итак, все, что я высypал из кошелки памяти, сразу же, на лету направлялось в соответствующее русло, правда, этак легонько-легонько. Не может быть и речи о какой-то преднамеренной лжи, подтасовке. Все происходило само по себе, во всяком случае – неумышленно. Впрочем, я не оправдываюсь.

Лишь теперь, вторично, словно детектив, идущий по следам совершенного преступления, которое состояло в ловком упорядочении даже того, что в свое время вовсе не было ни упорядоченным, ни указывающим в мою – литератора – сторону, я вижу во всем, что написал, эту нацеленную в меня – повзрослевшего на четверть века – стрелу. Это тем более удивительно, что я никогда не считал, будто «я родился писателем», будто *hoc erat in votis*. ^[1] Впрочем, я и сейчас так думаю. То есть в том детстве и оставшемся после него старье было, наверно, множество пересекающихся тропинок, по которым можно было пойти, направлений, которыми можно было воспользоваться, преимущественно бессистемных, кончающихся тупиками, обрывающихся; а может, это вовсе были и не тропинки, а лишь множество разделенных пространством и временем островков; это не был абсолютный хаос, потому что хотя бы уже то, что были дом, школа, родители, что вначале, будучи еще совершенно маленьким, я прилеплял себе к носу зеленое «крылышко», а потом, взрослея, ходил в школьном мундирчике, уже это само по себе создавало достаточно явный порядок. Но это был, пожалуй, такой же порядок, как на пустой шахматной доске, на которой по желанию можно увидеть черно-белые полосы, идущие либо вдоль, либо поперек, либо же по диагонали. Достаточно небольшого усилия воображения – и все переиначивалось так, как мы того пожелаем. Шахматная доска по-прежнему остается шахматной доской, и мы не можем увидеть ничего, кроме того, что на ней есть в действительности – белые и черные квадраты попеременно, – и лишь их порядок, направление неожиданно меняются. Видимо, нечто подобное случилось с нарисованной в этой книжке шахматной доской памяти. Я ничего не прибавлял, но один из многих возможных порядков, направлений черно-белых клеточек моего детства слегка акцентировал. Или так получилось потому, что мы невольно ищем лейтмотив, ведущую ось, логику жизни, чтобы не чувствовать себя виновными даже перед собою за то, что столько начатых направлений было брошено, потеряно, не использовано? Или просто и только потому, что мы хотим, чтобы все, что есть, равно как и то, что было, всегда имело какой-то четкий и однозначный смысл, хотя этого вовсе могло и не быть? Будто недостаточно так вот просто жить, я уж не говорю, в зрелом возрасте, когда неопределенность, отсутствие четкого смысла не позволяет нам чувствовать себя «на высоте», – но в детстве? Я хотел «предоставить» слово неискушенному ребенку, по возможности не мешая ему, а вместо этого поживился за его счет, выпотрошил ему карманы, тетради, ящички, чтобы похвалиться перед старшими, каким многообещающим он был уже тогда, какими личинками, куколками будущих достоинств были даже его грешки, а чтобы этот грабеж как-то оправдать, я превратил его в красивый указатель пути, чуть ли не в целую систему. Таким образом, я написал еще одну книгу, словно с самого начала не знал, не догадывался, что иначе и быть не может, что все намерения присматривать за тем, чтобы воспоминания были протокольно точными, все эти строгие наказания ничего не добавлять от себя – самообман.

Я слишком много говорил, слишком много интерпретировал, комментировал чужие

секреты и забавы – ведь не свои же, ибо их уже нет, они не существуют; я очень старательно, спокойно, деловито, словно бы писал о ком-то выдуманном, кто никогда не жил, кого можно сформовать, не отступая от канонов эстетики, в соответствии с волей и планом, построил этому мальчонке надгробие, заточил его там.

Это было нечестно. Так с детьми не поступают.

Помните ли вы набор загадочных предметов, которые лилипуты обнаружили в карманах Гулливера? Таинственные и фантастические штучки вроде гребня-частокола, огромных часов, издающих ритмичный гул, и множества иных вещей, назначение которых было уж совсем непонятным? Я тоже был когда-то лилипутом. Я знакомился с отцом, взбираясь на него, когда он сидел на стуле с высокой спинкой, и исследовал те карманы его черного, пахнущего табаком и больницей костюма, к которым он меня допускал. В левом кармане жилета лежал металлический цилиндр, напоминающий патрон на крупного зверя; цилиндр раскручивался, и становилась видна маленькая пирамидка никелированных вороночек, нанизанных одна на другую; каждая следующая немного отличалась диаметром от предыдущей. Это были отоскопы. В соседнем кармане хранился карандаш, исписанный уже почти до конца еще во времена моих первых изысканий. Он был вставлен в золотую оправу, из которой высовывался, стоило на нее нажать. Правда, для этого нужна была сила побольше той, на которую я был способен. В правом кармане сюртука хранилась металлическая коробочка с плюшевой подкладкой, довольно грозно хлопающая; там же лежал крохотный кошелечек, только, кажется, не для монет: в нем вообще ничего не было, кроме кусочка замши; кошелек как-то сам раскрывался, стоило отстегнуть застежку. В том же кармане хранился маленький серебряный футлярчик с кнопкой на крышке; в футлярчике находилась тоже серебряная, как мне помнится, пластинка с прикрепленной снизу плоской темно-фиолетовой резинкой, к которой нельзя было притрагиваться, потому что пальцы тут же становились чернильными. В левом кармане сюртука лежало надтреснутое круглое зеркало с дыркой посередине и черным ремешком с застежкой. Это зеркало здорово увеличивало мое лицо, делая из глаза что-то вроде огромного пруда, в котором, словно круглая рыба, плавала каряя радужница, а сам пруд был окружен камышами – толстыми ресницами: На золотой цепочке, пристегнутой к жилету, были укреплены плоские золотые часы с тремя крышками. У часов были цифры, именуемые римскими, и маленькая секундная стрелка. Открывать заднюю крышку часов я не умел, да и не всегда это можно было делать. Там жили маленькие колесики с рубиновыми глазками, светящиеся идвигающиеся. Таким образом, я узнавал отца вблизи. Он носил белую сорочку в узкую черную полоску; манжеты к сорочке пристегивались пуговицами, а твердые воротнички – запонками. Множество таких воротничков, уже использованных, лежало в ящиках комода. Они ласкали руку своей эластичной твердостью, и мне всегда казалось, что из них можно бы сделать что-то интересное, полезное, но я так и не сообразил, что бы это могло быть. Галстук у отца был мягкий, черный, напоминал шарф, отец завязывал его на манер банта. У шляпы были широкие мягкие поля и отличнейшая резинка – натягивать ее было одно удовольствие. Тросточек было две, одна время от времени терялась. Это были обыкновенные тросточки; необыкновенная же, с серебряной конской головой, была у дяди, а какой-то незнакомый мне человек, невероятно старый, еледвигающийся, пользовался еще одной тросточкой, с ручкой из слоновой кости. Однако я никогда не видел ее вблизи, когда приходил тот человек: он ужасно сопел. Я не знал, что он вовсе и не пытался напугать меня своим сопеньем. Это, кажется, тоже был какой-то дядя, вроде бы даже прадеда, но, по моему глубокому убеждению, на дядю он не походил ничуть.

Жили мы на Браеровской улице, в доме номер четыре, на третьем этаже. На прогулку обычно ходили – отец и я – в Иезуитский сад или вверх по аллее Мицкевича, в сторону церкви святого Юра. Не знаю, зачем отец носил тросточку: в то время он ею еще не пользовался. Зимними днями, когда в саду было еще слишком много снега, мы прогуливались по Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, где, задрвав голову, я мог рассматривать

огромные полунагие каменные фигуры в странных, тоже каменных, шляпах. Эти фигуры неподвижно исполняли свои непонятные функции: одна сидела, другая держала раскрытую книгу, оперев ее о колено. Постоянное задирание головы было мучительным, поэтому в основном я рассматривал шествующего рядом отца примерно на уровне колена – немного выше. Однажды я заметил, что на отце не обычные его ботинки со шнурками, а какие-то совершенно мне незнакомые, гладкие, без следа застежек. Исчезли и его гамаши, с которыми он не расставался. «Откуда у тебя такие ботинки?» – удивленно спросил я, и тогда с высоты раздался чужой голос: «Вот это смельчак!»

Это был вовсе не отец, а какой-то чужой пан, к которому я неведомо как пристал; отец шёл в нескольких шагах позади.

Я перетрусил. Видно, это было не очень приятное переживание, коль я его так хорошо запомнил.

Иезуитский сад был не очень велик, но все равно однажды я в нем заблудился; однако это случилось так давно и я был такой маленький, что, собственно, это даже не мое воспоминание; мне просто об этом рассказывали. В кустах – кажется, в орешнике, потому что ветки были красные, – стояла огромная бочка с водой; спустя, вероятно, лет тридцать я перенес ее в рассказ «Сад тьмы». Правду говоря, Иезуитский сад не был таким уж привлекательным. Другое дело Стрыйский парк. Там было озерко в форме восьмерки, а по правой стороне шла аллея, ведущая на край света. Почему я так считал, не знаю. Может, потому, что мы никогда туда не ходили, может, мне кто-нибудь так сказал. Но, пожалуй, я все-таки выдумал это сам и даже довольно долго склонен был в это верить. У Стрыйского парка были, по крайней мере, две достопримечательности: запутанная топография и великолепное соседство выставочного района Восточной ярмарки. Зимой и летом над ней возвышалась башня Бачевского, четырехугольная, вся обложенная рядами запечатанных разноцветных бутылок. Меня всегда интересовало: был ли в бутылках настоящий ликер или только цветная вода? Но этого не знал никто.

В Стрыйский парк мы обычно ездили на дрожках, а в Иезуитский сад просто шли пешком. А жаль, потому что проезжая часть площади перед университетом была выложена специальной брусчаткой – деревянной, – и конские копыта, ударяя по ней, высекали особый звук, словно под брусчаткой скрывалось какое-то огромное пустое пространство. Это не значит, что столь близкие прогулки не доставляли мне удовольствия.

У входа в сад сидел человек с «колесом счастья». Мне несколько раз удавалось выиграть жестяные портсигары с желтоватыми резинками для удержания папирос. Но по большей части доставались лишь двусторонние карманные зеркальца. Там же стояли лотки с мороженым, которое мне запрещено было есть. А потом, когда я немного подрос, я там иногда встречал Анюсю. Старушечка немного повыше меня ростом, в проволочных очках, с корзинкой кренделей, когда-то была моей первой воспитательницей. Крендели поменьше шли по пять грошей за пару, и эти я предпочитал, те же, что потолще, стоили пять грошей штука. Десять грошей называли «шустак»^[2] – это была солидная сумма.

Домой из сада возвращались или напрямик, или окружной дорогой через плац Смолки.^[3] Это делалось для того, чтобы в лавке Оренштейна купить фруктов, а то и вишневый компот в жестяной банке, который считался редким деликатесом. В витрине всегда возвышалась пирамида румяных яблок, мандаринов и бананов с овальной этикеткой, снабженной надписью «Fyffes». Слово это я запомнил, но что оно означало, не знаю до сих пор. Немного дальше, там, где начиналась Ягеллонская улица, находилось кино «Марысенька».^[4] Я его ужасно не любил, потому что ходил туда с матерью, когда, мне думается, она не знала, что со мной делать. Того, что происходило на экране, я не понимал и скучал страшно. Порой кончалось тем, что

потихонечку, украдкой я сползал со стула на пол и принимался на четвереньках исследовать окрестности, ползая между ногами людей, но и это тоже скоро надоедало. Поэтому приходилось ждать, пока фильм кончится. Паны и пани на экране безмолвно открывали и закрывали рты, и все это действие сопровождалось музыкой. Вначале фортепьянной, позже, кажется, с граммофонных пластинок.

Да, так, значит, мы возвращались домой. С площади Смолки, посередине которой возвышалась его каменная персона, надо было идти по неинтересной улице Подлевского, а потом по маленьким улочкам Шопена и Монюшки, где сильный запах кофе из курилки свидетельствовал о том, что вот-вот покажется наш дом.

За мрачными и тяжелыми железными воротами начинались каменные ступени. По черной лестнице, кухонной, ходить не полагалось. Она была спиральной, очень крутой и издавала глухой жестяной звук. Меня туда все время что-то тянуло, но, кажется, во дворе, через который сначала надо было пройти, жили крысы. Однажды такая крыса даже появилась у нас на кухне; в то время мне было уже лет, наверно, десять, а может, и одиннадцать. Крыса была страшная. Когда я двинулся на нее с кочергой, она прыгнула мне на грудь; я сбежал, и ее дальнейшая судьба мне не известна.

Мы жили в шести комнатах, и все-таки своей у меня не было. К кухне примыкала проходная комната со старой кушеткой, старым, некрасивым буфетом и подоконными шкафчиками, в которых мама хранила запасы; одна дверь, покрашенная в тон стены, вела в ванную, другая – в коридор, из которого можно было попасть в столовую, кабинет отца и спальню родителей; особая дверь вела в запретную зону – приемную отца. Я жил вроде бы везде и одновременно нигде. Сначала я спал с родителями, потом на диване в столовой, время от времени пытался в каком-нибудь месте осесть, но из этого ничего не получалось. Когда было тепло, я оккупировал небольшой каменный балкон, на который можно было попасть через кабинет отца. С него я – мысленно – совершал нападения на соседние дома, трубы которых, дымя, превращали их в военные корабли. Сидя на балконе, я чувствовал себя Робинзоном, а точнее – самим собою, заброшенным на необитаемый остров. Мои интересы уже с малых лет были тесно связаны с гастрономией. Я массу времени уделял созданию запасов провизии. Особую симпатию я питал к зернам лущеной кукурузы в маленьких бумажных пакетиках, бобам, а когда приходила пора, к черешне – боевому сырью: ее косточками было неплохо стрелять из оружия ближнего боя, то есть с помощью пальцев. Не оставались без внимания и липкие кофейные тянучки и остатки сладкого после обеда. Я окружал себя тарелочками, мешочками, пакетиками и начинал многотрудную и полную опасностей жизнь отшельника. Грешнику, даже преступнику, мне было о чем поразмыслить. Я научился проникать в центральный ящик буфета, в котором мама прятала ватрушки и торты; я вынимал верхний ящик и ножом обрабатывал кружочки сладкого теста с таким расчетом, чтобы на первый взгляд нельзя было ничего заметить. Потом собирал и съедал крошки, а нож, орудие преступления, старательно облизывал для сокрытия следов. Порой здравый смысл боролся во мне с мрачной страстью к засахаренным фруктам, которыми были украшены кондитерские изделия, и я неоднократно обдирал глазированную поверхность, безбожно лишая ее зеленого, сладко хрустящего под зубами аира, апельсиновых корочек и цукатов, так что появившиеся пролысины уже невозможно было скрыть. Потом я ожидал последствий рокового поступка с чувством безнадежности, а одновременно со стоическим отчаянием.

Свидетелями моих балконных сиест были два олеандра в больших деревянных кадках, цветущие один белым, другой розовым цветом; я сосуществовал с ними на принципе нейтралитета; от их присутствия мне было ни холодно, ни жарко. В комнатах тоже было несколько растений-вырожденцев, дальних измельчавших родственников южной флоры; какая-

то пальма, которая, если мне память не изменяет, все время умирала, но никак не могла погибнуть окончательно; филодендрон с жестяными листьями и маленькая сосенка, а может, елочка – не помню, – каждый год выпускающая бледно-зеленые пахучие стрелочки юных иголок.

В спальне были две вещи, с которыми связаны мои самые ранние воспоминания: потолок и огромный железный сундук. Я спал там, а спальне, будучи еще совсем маленьким, и часто рассматривал лепной потолок, на котором с помощью гипса были изображены дубовые листья и между ними пузатые желуди. Мои предсонные мечтания как-то переплелись с этими желудями, и я много думал о них – точнее, их созерцание занимало много места в моем психическом бытии. Мне ужасно хотелось их сорвать, но не взаправду – словно я уже тогда понимал, что острота желаний гораздо важнее их осуществления. Между прочим, что-то от этой инфантильной мистики перешло на настоящие, живые желуди: снятие с них шапочек в течение многих лет казалось мне чем-то особым, приоткрывающим что-то необычное, актом, имеющим огромное значение. Я ломаю себе голову, пытаюсь понять, почему это было для меня столь важным, – пожалуй, напрасно.

В спальне, в которой я спал – да, кажется, в ней, – умерли мои дедушка и бабушка. После дедушки остался железный сундук, предмет чрезвычайно тяжелый, огромный, никому не нужный, что-то вроде домашней сокровищницы тех времен, когда еще не было профессиональных взломщиков сейфов, а существовали лишь примитивные со всех точек зрения воришки, в наивности своей пользовавшиеся какой-нибудь палкой либо дубинкой. Железный сундук был приставлен к наглухо заколоченной двери, отделяющей спальню родителей от комнаты ожидания для больных. Сундук был снабжен большими ручками и плоской крышкой с какими-то вырезанными на ней листьями и квадратным клапаном посередине. Стоило этот клапан особым образом нажать сбоку, как он отскакивал, открывая отверстие для ключа – хитрость, как я теперь вижу, была трогательно добропорядочной. Однако в то время черный сундук казался мне делом рук каких-то изощренных умельцев и уж совершенно сверхъестественное изумление вызывал во мне ключ к нему: огромный, как мое предплечье. Я долго и нетерпеливо дорастал до того момента, когда смог, наконец, впервые повернуть его в скважине; эта операция потребовала от меня максимальных усилий, и, лишь ухватив ключ обеими руками, я смог одолеть его сопротивление.

Правда, я знал, что в сундуке нет сокровищ. Там на дне лежало несколько старых, пожелтевших газет, бумаг и деревянная шкатулка, полная восхитительных тысячемарочных банкнотов времен большой инфляции. Я даже пытался играть этими марками, а также сторублевками, которые были еще красивее: голубоватые, очень веселые, в то время как коричневато-бурые немецкие мерки немного напоминали по цвету замызганные обои. Какая-то непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их могущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых панов в овале, в них еще сохранились и только дремлют до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они только вызывали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой. Поэтому рассчитывать я мог не на эти банкноты, а лишь на то, что *могло бы* произойти внутри черного сундука, пока он находился под замком, а замкнут он был, собственно, всегда – с моего молчаливого согласия, которого, естественно, никто не спрашивал. Да, надо думать, там, в темноте, внутри, *могло* что-нибудь случиться. Поэтому процесс открывания сундука был актом весьма значительным и нелегким. С трех сторон ужасно тяжелой крышки откидывались длинные петли; крышку надо было поднять и подпереть специальными подпорками, иначе,

падаая, она могла – как меня в том уверяли и во что я охотно верил – отсечь голову. От такого сундука можно было всего ожидать. Он вовсе не был симпатичным, или приятным, или хотя бы просто красивым. Скорее угрюмым и безобразным, тем не менее я долго рассчитывал на его собственную внутреннюю силу. В дне сундука были предусмотрительно высверлены отверстия, чтобы его можно было наглухо привернуть к полу: отличная идея. Но не было уже винтов, теперь излишних; потом сундук накрыли старым ковриком, и, таким образом, он был окончательно занесен в разряд ненужной мебели, унижен, и его перестали замечать. Иногда, очень редко, я показывал кому-нибудь из ровесников ключ от него – он вполне мог сойти за ключ от городских ворот. Но со временем и он куда-то запропастился.

В примыкающем к спальне кабинете отца стоял большой застекленный книжный шкаф с внутренним замком, огромные кожаные кресла и круглый столик с довольно интересными ножками: они напоминали кариатид; под самой крышкой каждая из них кончалась металлической головкой, а внизу из-под дерева, словно из маленького гробика, выступали босые, тоже металлические, человеческие ступни. Однако это вовсе не казалось мне жутким и вообще не вызывало у меня никаких ассоциаций. Я одну за другой методично пооткручивал все головки – пустые бронзовые отливки, – и хотя потом старательно попридeldывал их на место, они все равно болтались под крышкой стола при каждом его перемещении.

У стены в одиночестве стоял замкнутый на все замки письменный стол отца, покрытый зеленым сукном. Там в совсем будничном ящике хранились деньги, но уже настоящие. Изредка в нем гостили сокровища более значительные, с моей тогдашней точки зрения, – коробочка шоколада Нардалли, привезенная из самой Варшавы, или другая – с фруктовым мармеладом. Отец обычно долго священнодействовал связкой ключей, прежде чем какая-нибудь из этих сладостей, по-аптечному отмеряемых, появлялась передо мной, разрываемым двумя взаимоисключающими желаниями: проглотить угощение молниеносно или же упиваться перспективой этого поглощения по возможности дольше. Как правило, я все проглатывал сразу. В столе были замкнуты еще две удивительно интересные вещи. Маленькая заводная птичка в коробочке, выложенной перламутром, родом, кажется, с Восточной ярмарки. Птичка эта была не подлежащим продаже экспонатом какой-то экзотической экспозиции. Отец, увидев, что после нажатия миниатюрной кнопочки открылась плоская перламутровая крышечка, а под ней вторая – в золотую клеточку, – и став свидетелем того, как из – коробочки выскочила малюсенькая, меньше, чем ноготь, птичка, вся темно-радужная от блесков, и, трепеща крыльшками, шевеля клювиком, стреляя глазками, вертелась, словно флюгер на костеле, и пела, привел в движение все пружины, знакомства и связи, так что в конце концов за неведомую мне баснословную сумму купил эту драгоценность, которую он лишь в исключительных случаях доставал из-под замка и заводил, тщательно заботясь о том, чтобы она не попала мне в руки, ибо было совершенно очевидно, что это была бы последняя минута в жизни птахи, хотя я не меньше отца дивился ею и даже почитал. Птичку отцу продал, кажется, очень важный представитель заморской фирмы, а еще точнее – японец. Во всяком случае, именно такой версии я остался верен. Некоторое время в столе обитала другая птичка, похуже, размером с воробья, заводная, которая заядло долбила стол, если ее на него ставили. Однажды я выпросил ее на некоторое время; в тот день и окончилась ее история. Были еще в столе отца всякие диковинки, из которых лучше всего я помню очки из золотой проволоки со стеклышками-рубинами, тоже в золотом футлярчике, длиною не больше маленькой спички. Другие, менее ценные вещицы хранились в стеклянном шкафу в столовой. Это были плоды искусства миниатюризации – крохотный столик с шахматной доской и раз навсегда расставленными на ней шахматами, курятник с курочками, скрипки (у них я повыдергивал струны) и разная мелочь из слоновой кости, какие-то стульчики, диванчики, яйцо, которое, открываясь, являло миру множество сбившихся в кучу фигурок,

потом еще серебряные рыбки, сделанные из пустых металлических члеников, что позволяло их изгибать в две стороны, а также, помнится, коричневые креслица с обивкой; сиденья были размером с ноготь, атласные и мягкие. Сам не знаю, каким чудом большинство этих предметов в течение многих лет выдерживало мое активное присутствие. Однако возвращаясь к кабинету, к его старым большим креслам; в узких, но глубоких провалах между их спинками и сиденьями постепенно накапливались разные предметы – монеты, пилки для ногтей, ложечки, гребешки; все это я весьма усердно, выкручивая себе пальцы, а креслам коленчатые пружины, скрипевшие словно в агонии, вылавливал, вдыхая аромат мертвой кожи, столярного клея, шершавого полотна. Меня влекли не столько сами находки, сколько неясная надежда, что я найду – или даже скорее, что они сами как-то вылупятся, – предметы совершенно иные, наделенные непередаваемыми свойствами. Поэтому на всякий случай я должен был быть один, когда с тихой яростью принимался пытаться потемневших от старости лентяев. То, что ничего необычного я в них не обнаруживал, как-то не остужало моего запала.

Теперь, пожалуй, уже пришла пора поговорить о первых основах мифологии, которую я в то время исповедовал. Я верил, например, никому не признаваясь в этом, что мертвые предметы не менее, чем люди, ущербны, а следовательно, и они могут страдать рассеянностью; и если запастись терпением, то их можно заставить врасплох, принуждать, в частности, к делению. Так, если, скажем, лежащий в шкафу перочинный ножичек забудет, где ему быть положено, то его удастся отыскать в совершенно ином месте – например, между книгами на полке; и тогда, попав в совершенно безвыходное положение и не будучи в состоянии выбраться из шкафа, он удвоится и получится два одинаковых ножичка. Таким образом, я считал, что предметы подчиняются некоей логике неизбежности, они должны подчиняться определенным правилам, и лишь тот, кто отлично знал эти правила, мог добиться от этой якобы мертвой материи желаемых результатов. Долгое время немного бездумно, а немного и бессознательно я исповедовал эту религию – и не могу сказать, избавился ли я от нее окончательно и по сей день.

Книжный шкаф – поскольку он был замкнут – притягивал меня. В нем находились прежде всего медицинские книги, анатомические атласы отца; и благодаря его рассеянности я имел возможность с их помощью солидно и методично ознакомиться с особенностями, касающимися различия полов. Однако, странное дело, гораздо больше меня привлекали тома остеологии. Человек с содранной кожей, изображенный на кроваво-красных или кирпичных миологических картинках, мне не нравился; в нем было что-то от крови, от сырого бифштекса, которого я не переносил, которым гнушался. Зато скелеты были очень опрятны. Не знаю, сколько мне было лет, когда я впервые листал эти черные тома in quarto^[5] с большими желтыми гравюрами черепов, ребер, тазобедренных суставов и берцовых костей. Во всяком случае, я не боялся ни этих мертвецов, ни их костей, но и особого удовольствия они мне тоже не доставляли. Это немного напоминало изучение описаний к большим Детским «Конструкторам», в которых вначале нарисованы отдельные рычажки, оськи, колесики, а уж потом, на следующих страницах, конструкции, которые можно из них собирать. Возможно, остеологические атласы были в какой-то степени созвучны моим, правда проявившимся значительно позже, конструкторским интересам. Я добросовестно изучал эти тома и некоторые рисунки помню по сей день. Например, костлявые ступни скелетов; маленькие косточки, связанные полосками сухожилий, раскрашенных, возможно, для большей выразительности в голубой цвет.

Отец был ларингологом, поэтому основную часть библиотеки составляли пухлые книги, посвященные болезням уха, горла, носа. Эти органы вместе с их недугами я втихую и по секрету считал второсортными, в чем отдаю себе отчет лишь сейчас. Среди множества книг находился монументальный труд, многотомный немецкий «Handbuch»^[6] оториноларингологии. В каждом его томе было не меньше тысячи меловых страниц. Там можно было увидеть бесчисленные

человеческие головы, разрезанные самым неожиданным образом, со всей их чрезвычайно старательно вырисованной и раскрашенной машинерией; притягивали меня также и изображения мозгов, отдельные слои которых отличались друг от друга всеми мыслимыми цветами. Бессознательно и, надо сказать, не очень умно я много лет спустя удивился, впервые увидев в прозекторской мозг в натуре (то есть, разумеется, в виде анатомического препарата). Он вовсе не был таким уж попугайчишь пестрым.

Поскольку эти анатомические сеансы были запрещены, мне приходилось организовывать их особым образом. Подробная разработка тактических ходов отнюдь не является привилегией одних лишь взрослых – любой ребенок кровно заинтересован в их организации. Я словно наездник сидел на большом поручне кресла, которое хрустело кожей при каждом моем движении, и, защитившись со стороны входной двери открытой створкой книжного шкафа, чтобы иметь возможность в любой момент сказать, что я-де только что его открыл, а также по возможности быстро и незаметно всунуть книгу на свое место, опирал извлеченный том о спинку кресла и в такой позиции предавался изучению. Интересно и то, что я тогда думал: меня особенно привлекала аккуратность, точность исполнения рисунков – разочарование опять пришло лишь много лет спустя, когда я понял, будучи уже студентом медицинского института, что в кабинете отца я рассматривал лишь идеал и абстракцию расположения нервов или крючков для оттягивания сухожилий. Не помню также, чтобы я когда-нибудь связывал то, что рассматривал, с собственным телом. В этих огромных изображениях не было ничего тревожного – быть может, благодаря деловитости, фрагментности, пытливой многосторонности, присутствовавшей в пухлых томах даже тогда, когда они являли мне не только анатомические детали, но и кончики нарисованных пальцев, держащих тупые или острые крючки, с помощью которых полагалось для лучшей видимости оттягивать в стороны участки разрезанной кожи. Были там и другие книги, уже с действительно жуткими картинками, но, собственно, настолько уж жуткими, что я их тоже не боялся. На них были изображены изуродованные войной человеческие лица; там были лица безносые, лишённые челюстей, ушных раковин и даже в полном смысле слова лица без лиц, от которых остались одни лишь глаза, глядевшие из рубцов шрамов с выражением, которое мне ни о чем не говорило. Мне не с чем было его сравнить, оно мне ничего не напоминало. Может, от таких картинок немного и бегали по спине мурашки, но, пожалуй, так же, как при слушании сказок – а ведь обычно в них происходят ужасные вещи, – так что эта дрожь, в принципе желанная и даже приятная, не была для меня чем-то из ряда вон выходящим. Более того: многие картинки мне просто казались смешными, так как, посвященные проблемам протезирования, они демонстрировали прицепленные к очкам искусственные носы, уши на ленточках, масочки, имитирующие лёгкую улыбку, совсем невинную, какие-то искусные затычки для продырявленных щек, зубные протезы, заменители нёба. Все это казалось мне каким-то маскарадом, какими-то развлечениями для взрослых, не совсем понятными, как и множество их обычаев, но я не видел в них ничего плохого или позорного. Это мне даже в голову не приходило. В принципе только один предмет, не книжка, вызывал беспокойство. На одной из полок, перед золочеными корешками толстых томов, лежала височная кость, прокипяченный препарат, результат так называемой полной операции на среднем ухе, с пробитым сосочным отростком. Разумеется, ничего этого я не знал, просто эта кость, по весу, на ощупь немного похожая на те, что оставались на самом дне супницы с бульоном, обнаруженная в книжном шкафу, словно бы умышленно подброшенная, заставляла задуматься и даже немного тревожила. У нее был какой-то особый запах, прежде всего пыли, книг, библиотеки, но сквозь него тонкой струйкой пробивался другой, немного сладковатый, а немного с гнильцой. Иногда я подолгу обнюхивал ее, как бы пытаюсь уразуметь, что же, собственно, это такое, словно бы обоняние было тем чувством, которое уведет меня дальше

остальных. В конце концов это вызывало легкое отвращение; тогда я откладывал кость, стараясь положить ее на ту же полку, на которой она лежала до этого.

На более низких полках почивали кучи растрепанных, поразорванных французских романов без обложек и каких-то журналов; один – на немецком языке – назывался «Uhu».^[7] То, что я мог прочесть названия, не помогает мне установить хронологию этих начинаний, поскольку печатный шрифт я умел читать уже в четыре года. Я только листал рассыпающиеся, сброшюрованные французские романы, так как в них были иллюстрации достаточно фривольные, в стиле *fin de siècle*.^[8] Вероятно, там были напечатаны какие-то пикантные историйки, но это вывод современный, более поздняя реконструкция, опирающаяся на воспоминания, уже сильно размытые влиянием времени. На одних страницах были видны дамы и господа в изысканных светских позах, а несколькими страницами дальше эта галантность вдруг уступала место утопающей в кружевах наготы, кто-то убегал через окно, теряя брюки, нагие дамы в длинных черных чулках бегали по комнате; теперь я вижу, что соседство обоих видов книжек было достаточно своеобразным, а сам порядок, в котором я все это листал, был тоже достаточно забавен, забавен до ужаса, коль скоро я, наездник на кресле, без всяких хлопот или колебаний, ничтоже сумняшеся, переходил от скелетов к фривольной эротике. Как бы там ни было, я воспринимал все это так же, как принимал облака, деревья; ведь я все еще всему учился, ко всему должен был привыкать, и ничто у меня, собственно, ни с чем не вступало в диссонанс.

На книжной полке лежала длинная жестяная труба с широким концом, из нее торчал рулон плотной желтоватой бумаги, от которой шел плетеный черно-желтый шнур, заканчивающийся плоской коробочкой, содержащей в себе как бы маленький светло-красный пряник с выпуклым изображением и надписями. Это был докторский диплом отца на пергаменте, возвышенно начинающийся отпечатанными огромными буквами словами: «SUMMIS AUSPICIIIS IMPERATORIS AC REGIS FRANCISCIIOSEPHI...»,^[9] пряник же, который я осторожно два раза пытался надкусить, но больше не пробовал, так как он был невкусный, представлял собой большую восковую печать Львовского университета. Разумеется, вначале я знал лишь, что в трубе хранится диплом (мне это сказал отец, хоть я и не понимал, что это значит), который мне запрещалось вынимать из трубы (при этом я не очень-то верил, что пергамент действительно сделан из обработанной ослиной кожи). Позже я уже мог прочесть несколько слов, ничего, однако, не понимая. В первом, кажется, классе гимназии я уже мог перевести эти возвышенные слова; я говорю об этом потому, что на примере диплома отчетливо виден тот процесс возобновляемого и многократного познания предметов и явлений, с помощью которого я постепенно как бы переходил с этажа на этаж; каждый раз я узнавал очередную версию явления или вещи, что само по себе не представляет ничего необычного. Каждый это знает, ибо, знакомясь с историей собственного происхождения, любой из нас вначале познает «версию аиста», а уж потом вторую, более реалистичную. Но дело в том, что все предыдущие версии, даже явно фальшивые, как, например, «версия аиста», не исчезают бесследно, отброшенные. Что-то от них в нас остается, сливается с последующими, смешивается, одним словом, как-то продолжает существовать. Конечно, если говорить о фактах вроде диплома моего отца, то нетрудно установить истинную версию, ту единственную, которая соответствовала истине. Иначе обстоит дело с переживаниями. У каждого из них свой вес и своя правда, безапелляционная и ни от чего, кроме себя самой, не зависящая, и в этом вся беда, поскольку единственным стражем и гарантом их истинности в воспоминаниях является память. Конечно, можно бы отметить, что существуют «переживания неадекватные», вроде моих измышлений, касавшихся черного железного сундука. Однако не всегда удается сделать столь окончательный

Вывод.

За боковой створкой двери в отцовской библиотеке находились плотно уложенные книги, к которым я даже не приступал, убедившись однажды, что картинок там нет. Я лишь помню цвет и вес некоторых из них, не более. Много бы я дал за то, чтобы узнать, что же собрал там мой отец, но библиотека полностью погибла во время войны, и от нее не осталось и следа, а потом творилось такое и столько, что было просто некогда разбираться в этом. Поэтому версия, созданная ребенком, примитивная, неверная, собственно, никакая, должна стать для меня единственной, и это относится не только к книгам, но и ко множеству событий, подчас драматичных, которые разыгрывались над моей головой. Если бы я пытался их реконструировать задним числом, делать выводы и строить домыслы, это превратилось бы в рискованный труд, – кто знает, не нафантазировал ли бы я к тому же уже не как ребенок. Поэтому, я думаю, мне надо отказаться от подобного намерения.

В столовой, как я уже говорил, кроме разношерстных стульев и стола, раздвигаемого во время больших приемов, стоял солидный буфет, средоточие сладостей, этажерка с «нипами», ^[10] специальностью матери, а под окном лежал пушистый ковер, на котором немного позже я охотно валялся, читая книги, – уже купленные специально для меня. Поскольку, однако, чтение было действием весьма пассивным и слишком простым, я имел обычай ставить себе на лодыжку, в углубление под коленом, на подошву ступни ножку какого-нибудь стула и легкими движениями балансировал им так, чтобы он все время оставался в состоянии неустойчивого равновесия, на самой его границе. Мне неоднократно приходилось резко прерывать чтение, чтобы поймать падающий стул, иначе его грохот мог совсем нежелательно привлечь ко мне внимание домашних. Впрочем, я слишком забежал вперед, чего мне очень трудно систематически избегать.

Насколько я помню, я довольно часто болел. Меня загоняли в постель различные ангины, бронхиты, и в принципе это было время величайших привилегий. Не только все вокруг меня кружилось, не только отец особо подробно выпытывал меня о самочувствии, используя при этом определенные признаки и показатели, которые должны были с исключительной точностью определить качество моего самочувствия в выдуманных градусах несуществующей шкалы, но, кроме того, я был объектом сложнейших процедур. Не все я относил к приятным. Например, трудно было назвать таковыми питье горячего молока с маслом, но вот ингаляции становились для меня воодушевляющим развлечением. Прежде всего приносили большой таз, в который наливали горячую воду, затем отец из маленькой бутылочки с притертой пробкой добавлял туда немного маслянистой жидкости и шел на кухню, где тем временем уже раскаляли докрасна на огне чугунный кружок кухонной плиты. Отец брал его щипцами и, внося в комнату, опускал в таз, а в мои обязанности входило старательно вдыхать клубы пара, пахнущие ароматным маслом. Отличнейшее это было зрелище – бешеное кипение воды, шипение раскаленного докрасна железа, от которого отпадали почерневшие крошки окалины, а вдобавок ко всему я еще старался воспользоваться оказией и запустить в таз что только под руку попадало: например, целлулоидную утку или деревянный пенал. Надеюсь, я не симулировал страданий, когда их не было. Впрочем, видимо, такого рода попытки все-таки были. Их просто не могло не быть, коль мне, как больному, отец ни в чем не мог отказать: и птичка в перламутровой коробочке тогда пела для меня, и золотыми очками с рубиновыми стеклышками я мог играть, и еще, возвращаясь из больницы, отец приносил так называемые «узелки» с игрушками. Посему без всякого преувеличения я могу сказать, что наподобие некоторых дам наибольшие выгоды я получал, лежа в постели. В результате одной из ангин мне достался автомобиль-гигант, деревянный лимузин таких размеров, что я мог ездить на нем верхом, сидя на крыше. Правда, более серьезные болезни, вроде камня, выросшего у меня в пузыре, с их болями и температурой,

делали все подарки и игры недостаточной усладой бытия. Однако так или иначе я всегда выздоравливал. Будучи здоровым, я большую часть времени проводил наедине с собой. Я охотно исследовал квартиру, ползая на четвереньках. По непонятным причинам максимальное удовольствие мне доставляло чувствовать себя каким-нибудь воображаемым животным, и этой игрой я занимался так рьяно, что на коленках у меня выросли толстые, твердые мозоли, которые сохранились еще в то время, когда я ходил в старшие классы начальной школы.

Пора описать Мои порочные наклонности.

Я ломал все игрушки. Быть может, наиболее позорным моим поступком была поломка отличнейшей маленькой шарманки, блестящей деревянной коробочки, в которой под стеклышком вертелись золотистые зубчатые колесики, вращающие золотистый же бронзовый валик с иголками, так что возникали хрустальные мелодийки. В середине ночи я встал, видимо решившись заранее, потому что, почти не задумываясь, поднял стеклянную крышечку и напрудонил внутрь. Позже я так и не сумел объяснить обеспокоенным домашним мотивы этого нигилистического акта. Какой-нибудь фрейдист наверняка подыскал бы для меня соответствующий звучный термин. Во всяком случае, о том, что шарманочка умолкла, я сожалел, пожалуй, не менее искренне, чем какой-нибудь извращенный убийца о своей свежей жертве.

Увы, это не было действием единичным. У меня был маленький мельник, который, после того как его заводили, вносил мешочек с мукой на верх лестницы, в амбар, спускался за следующим, опять его вносил, и так до бесконечности, потому что сброшенные в амбар мешочки тем временем съезжали на самый низ лестницы. Был у меня водолаз в скафандре, заточенный в пробирку с резиновой мембраной. Когда эту мембрану нажимали, он погружался в воду. Были у меня клюющие птички, вертящиеся карусели, гоночные автомобили, кувыркающиеся куклы – и все это я безжалостно потрошил, извлекая из-под блестящих красок колесики и пружинки. Волшебный фонарь фирмы Патэ с французским эмалированным петушком на стенке мне пришлось обрабатывать тяжелым молотком, и толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой-то бездумный, отвратительный демон разрушения и порчи; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним случилось позже.

Когда я был немного – но только совсем немного – повзрослей, я уже не смел так вот, попросту, с детской непосредственностью – потому что, видимо, постепенно терял ее – схватиться за орудие преступления и «пырнуть» им очередную жертву. Тогда я уже пытался отыскивать для себя различные оправдания. Ну, например, что-де там, внутри, надо что-то такое отрегулировать, поправить, проверить. Это была дешевая видимость, потому что, конечно же, я не только не сумел бы этого сделать, но даже и не пытался. И все-таки мне казалось, что я имею право так поступать; и когда мать резко запротестовала, увидев, как я начал было вбивать гвоздь в буфет в столовой (мне нужен был крючок для подвесной дороги), то я долго и горько на нее обижался. Из круга тотального уничтожения была исключена только одна кукла мужского пола по имени Вицусь – тощий паренек, полный опилок, рыжеватый блондин, которому я шил костюмы, башмаки и который болтался потом по квартире, пожалуй, до самой войны. Однажды в приступе неудержимой жажды познания я немного подраспорол его, но тут же зашил ему дырку в животе, а может, пришел оторванную руку, не помню. Я много беседовал с ним, но об этом мы никогда не вспоминали.

У меня не было собственного угла, поэтому я со все растущей разнузданностью бесчинствовал по всем комнатам. Недоеденные конфеты («хопсье») я обычно прилеплял к столу, под крышкой, и со временем там образовывались воистину геологические залежи сладких окаменелостей. Извлеченные из шкафов костюмы отца я переделывал в манекены,

восседающие на стульях и креслах, в поте лица своего набивая свернутыми в рулоны журналами их болтающиеся рукава, а внутрь запихивая что под руки попадало. В сезоне созревания каштанов я пытался что-то делать с этими изумительнейшими плодами, которые настолько привлекали меня, что, сколько бы я их ни набирал, мне все равно не хватало; они уже сыпались у меня из-под рубашки, а я запихивал в карманы, в трусы-дутики все новые и новые... Но вскоре я убедился, что красивыми и блестящими бывают каштаны, только пребывающие на свободе, заключенные же в коробочки, они быстро морщятся, тускнеют, дурнеют.

Калейдоскопами, которые я вскрывал, можно было обдарить целый приют, а ведь я знал, что в них нет ничего, кроме цветных стекляшек. Вечерами я охотно смотрел с балкона, как темная улица оживает от огней. Неведомо откуда появлялся молчаливый фонарщик, на мгновение задерживался около очередного фонаря, поднимал свой шест – и маленькая бабочка огонька тут же разрасталась в голубоватое пламя. Некоторое время я хотел быть фонарщиком.

Из двух сил, двух категорий, которые берут нас в свое владение, когда мы неведомо как появляемся на свет, пространство, несмотря на все, гораздо менее непонятно. Правда, и оно подвержено изменениям, но их суть проста: пространство не делает ничего иного, как постоянно сокращается по мере того, как уходят годы. Поэтому-то понемногу уменьшалась площадь нашей квартиры, и Иезуитский сад, и спортивная площадка Второй государственной гимназии имени Карла Шайнохи, в которую я ходил восемь лет. Правда, мне легко было не заметить эти изменения, потому что одновременно росла моя самостоятельная активность, я перемещался по Львову все смелее, так что измельчение отдельных хорошо знакомых мест заслонялось сериями эскапад все более дальних. Поэтому уменьшение размеров удается заметить относительно поздно. Пространство, как ни говорите, остается солидным, единым, лишенным каких-либо западней и ловушек. Зато враждебным чудовищем, по-настоящему коварным и даже, я бы сказал, противным природе человека, является время. Прежде всего в течение многих лет величайшие трудности для меня составляли попытки различить смысл таких понятий, как «завтра» и «вчера». Признаюсь – об этом я еще ни разу не говорил, – что оба эти понятия я достаточно долго помещал в пространстве. Я считал, что «завтра» располагается над потолком, как бы на следующем этаже, и опускается на нижний уровень ночью, когда все спят. Правда, одновременно я знал, что на четвертом этаже нет никакого «завтра», а живет там некое семейство, и есть там взрослая дочь и золотистая коробочка, полная зеленоватых, липнувших к пальцам конфет. Эти конфеты, заполняющие рот эвкалиптовой мятой, вовсе мне не нравились, и, тем не менее, я любил их получать, учитывая, вероятно, сопутствующие обстоятельства. Конфеты хранились в ящике секретера, снабженного деревянной шторкой, которая, опускаясь и прикрывая крышку стола своими выпуклыми ребрами, гремела, словно водопад. В то время я понимал, что, поднимаясь вверх, я не смогу застать «завтра» врасплох, так же как, спускаясь, не поймаю «вчера», так как под нами жили владельцы дома. Несмотря на это, я был все-таки убежден, что «завтра» находится над нами, а «вчера» – под нами; причем это «вчера» отнюдь не растворилось в небытии, но продолжает существовать, выпотрошенное, где-то там, под моими ногами. В этом образе было несомненное противоречие, но оно мне как-то не мешало.

Но все это лишь предварительные и, добавим, элементарные замечания. Я помню ворота, лестницу, двери, коридоры и комнаты того дома на Браеровской, в котором родился; я помню также множество людей, например тех же соседей, но без лиц, потому что эти лица изменялись, а моя память, не отдающая себе отчета в неотвратимости подобных изменений, была бессильна перед ними, так же как фотографическая пластинка бессильна перед движущимся предметом. Конечно, я могу себе представить отца, но четче буду видеть его фигуру, одежду, нежели черты

лица, потому что друг на друга наложились образы многих лет и я не знаю, каким хочу его увидеть: уже совершенно седым или еще крепким пятидесятилетним мужчиной; подобным же образом обстоит дело со всеми, рядом с которыми я пребывал достаточно долго. Когда погибают фотографии и портреты, проявляется эта наша полнейшая безоружность перед лицом времени; узнать, каково его действие, можно рано и быстро, но это знание теоретическое, ни на что, собственно, не пригодное; ведь уже пятилетним мальчишкой я знал, что означают понятия «молодой» и «старый», потому что было старое масло и молодая редиска, я многое знал о днях недели, даже о годах (у лет были свои оттенки – двадцатые годы были светлые, потом, по мере приближения к девятке, они темнели), а ведь, по сути дела, я верил в неизменность окружения. Особенно людей. Я не мог примириться с мыслью, что взрослые не всегда были такими. Меня даже немного раздражали те уменьшительные имена, которыми они наделяли друг друга; мне это казалось противоестественным. Ведь уменьшительные имена были только для детей. Мне казалось абсурдным, когда старик обращался к другому старику, называя его «мой Стась». Если я не говорил об этом никому, то только потому, что чувствовал: все равно меня никто не поймет.

Итак, время в те годы было пучиной, недвижимой в себе самой, как бы инертной, неактивной. В нем, словно в море, происходило многое, но само оно как бы стояло. Каждый школьный час представлял собою что-то вроде Атлантического океана, который требовалось переплыть с мужеством самоотречения в сердце, от звонка до звонка проходили насыщенные опасностями вечности; что же говорить о летних каникулах, которые превращались в целые эпохи. Об этой – немыслимой для меня теперь – пространности часов или дней я рассказываю так, словно бы я об этом от кого-то услышал, а не так, будто познал это сам, – я не в состоянии этого ни уразуметь, ни представить. Со временем все стало свершаться гораздо быстрее, и пусть не говорят мне, будто лгут ощущения, а часы отмеряют одинаковый ритм бега времени; я скажу, что все обстоит совсем наоборот: лгут часы, потому что физическое время не имеет ничего общего с биологическим. Какое нам дело – за пределами физики – до времени электронов или зубчатых колес? В этом разделении мне всегда чудился какой-то подвох, я ощущал какую-то низость, замаскированную методами времяисчисления, нивелирующими все изменения. Мы появляемся, полные веры, что все обстоит именно так, как мы видим, что делается то, о чем нам говорят наши органы чувств, а потом неизвестно как и когда оказывается, что дети взрослеют, а взрослые начинают умирать.

Не знаю, совершенно ли уже ясно, что я был тираном? Норберт Винер начал свою биографию словами: «I was a child prodigy» – «Я был чудесным ребенком»; я мог бы сказать только: «I was a monster» – «Я был чудовищем». Итак, чудовищем, быть может, лишь с небольшим преувеличением; но то, что я терроризировал окружающих, особенно будучи еще совсем маленьким, – истина. Есть я соглашался только в том случае, если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или же меня можно было кормить только под столом; я этого, разумеется, не помню, это было начало, спящее где-то за пределами воспоминаний. Если я и был чудесным ребенком, то исключительно лишь в глазах любвеобильных тетюшек. Зато чувствительным я был наверняка. Отсюда мое первое очень раннее сближение с поэзией. Еще не умея читать, я декламировал единственное в моем репертуаре и пользующееся неизменным успехом у гостей стихотворение о комаре, что с дуба упал. Не помню, чтобы я хоть раз довел декламацию до конца, поскольку, дойдя до того места, в котором выяснялось, что это падение имело совершенно роковые последствия (комар сломал себе кость в крестце), я начинал реветь, и совершенно зареванного меня выводили из комнаты. В то время было мало существ, которым бы я сочувствовал столь горячо и одновременно так безнадежно, как этому комару; *in hoc signo*^[11] проявилась надо мной власть литературы.

Писать я научился в четыре года, однако ничего особо сенсационного этим путем сообщить не мог. Первое письмо, которое я написал отцу из Сколы, куда поехал с мамой, было лаконичным; в нем сообщалось о том, что я по собственной инициативе искупался в настоящем деревенском клозете с дыркой в доске. Я, правда, не стал сообщать, что в ту же дыру выбросил все ключи нашего хозяина – доктора. Впрочем, авторство этого поступка было спорным, потому что в то время со мной был один местный житель, мой ровесник, и установить, у кого были ключи в последний раз, не удалось. С их вылавливанием была масса хлопот.

Из достопримечательностей и монументов Львова в тот период мое внимание приковала кондитерская Залевского на Академической улице. Видимо, у меня был недурной вкус, потому что с тех пор я действительно нигде не видел кондитерских витрин, сделанных с таким размахом. Собственно, это была не витрина, а сцена, оправленная в металлические рамы, на которой несколько раз в году сменяли декорацию, образующую фон для гигантских статуй и аллегорических композиций из марципана. Какие-то великие натуралисты, а может, Рубенсы воплощали в марципановой яви свои мечты, а уж перед рождеством и пасхой за стеклами творились закованные в миндальную массу и какао чудеса. Сахарные Миколаи правили упряжками, а из их мешков низвергались водопады сладостей: на глазированных тарелках почивали ветчина и заливная рыба – тоже марципановые, с отделкой из крема; причем эти мои знания не носят чисто теоретического характера. Даже ломтики лимона, просвечивающие из-под желе, были достижениями кондитерского искусства. Я помню стада розовых свинок с шоколадными глазками, все мыслимые разновидности плодов, грибы, копчености, растения, какие-то лесные дебри и просеки. Создавалось впечатление, что Залевский мог бы повторить в сахаре и шоколаде весь космос, солнцу добавить лущеного миндаля, а звездам – глазурного блеска; каждый раз в новом сезоне этот мастер мастеров ухитрялся пронзить мою душу, алчущую, беспокойную, еще совершенно доверчивую, с новой стороны, заполнить меня многозначительностью своих марципановых скульптур, офортами белого шоколада, везувиями тортов, извергающих взбитые сливки, в которых, словно вулканические бомбы, летали замороженные фрукты. Пряники Залевского стоили 25 грошей – немалую сумму, если учесть, что большая булка стоила 5 грошей, лимон около десяти, – но, видимо, надо было платить за его

панорамы, за сладкую освещенную баталистику, как знать, уступавшую ли той, которую являла Рацлавицкая панорама. [\[12\]](#)

Была на Академической еще и другая кондитерская, произведения которой больше говорили желудку, нежели глазу. С ней связаны не самые веселые из моих воспоминаний. Так, например, однажды брат отца дядя Фридерик вез меня на двуконных дрожках якобы ради невинной цели, празднично принаряженного в белый кружевной воротничок, а кончилась эта поездка у зубного врача, который вырвал мне молочный зуб. Потом мы возвращались – я зареванный, с заплеванными, испачканными кровью кружевами, – и дядя пытался умаслить мой праведный гнев, вызванный его вероломством, в упомянутой уже кондитерской фисташковым мороженым. Сдается, отец не решился присутствовать при душераздирающем акте «зубодрания» и поэтому тогда не пошел с нами к врачу.

В пассаже Миколаша был другой кондитерский магазин, точнее – магазинчик, с итальянским мороженым, где уже значительно позже Стефан, мой брат по тете, парнице страшно крупный, вызывал меня на коварные поединки: мы ели мороженое, а платить должен был тот, кто проиграет и съест меньше. Стефан обладал феноменальной вместимостью; я помню возвращения из этого места, помню, как шел по пассажи, прикрытому сверху матовыми стеклянными плитками, и вышагивал, словно палку проглотил, потому что желудок мой превращался в нечто похожее на ванилиновый холодильник.

В начале Академической, недалеко от гостиницы Георга, находился другой, уже не конфетный, но тоже очень важный магазин Клафтена с игрушками. Я ничего не могу сказать ни о его витринах, ни о внутреннем оформлении, потому что место это, для меня святое, отнимало у меня дар наблюдательности и я приближался туда в сладостной истоме, с учащенно бьющимся сердцем, чувствуя, какому испытанию будет сейчас подвергнута моя не способная к выбору ненасытность. Там мне покупали соблазнительно тяжелые плоские коробочки с оловянными солдатиками, пушечки, заряжаемые горохом, деревянные крепости, волчки, пугачи, стреляющие пробками, но никогда не приобретали никаких пистолетов или снаряжения к ним; то и другое было запрещено.

Когда-то, в самом начале, был у меня конь, сивка на колесиках; теперь я уже не могу восстановить в памяти его образ, только в кончиках пальцев сохранилось что-то от шершавого прикосновения к его шерсти, хвосту, сделанным из настоящего конского волоса. Первое время я обращался к нему на «вы», потому что он был такой большой и восхитительный, что я не смел к нему прикасаться. Относился я к нему хорошо – колесики отскочили у него сами, обгрызенные зубами времени. Остатки впечатлений, которые сохранились у меня от предгимназической эпохи, сгруппированы вокруг происшествий скорее поразительных и бурных, нежели приятных. Я знаю, где на Ягеллонской жила моя тетка, потому что там однажды на меня в сенях напал огромный индюк – не имею понятия, откуда он взялся, – я долго боялся туда ходить, молниеносно проносился через темное пространство между деревянными воротами, в которые была вделана маленькая дверца, и подножием деревянной, жутко трясущейся лестницы. Дорога к жилищу тетки была страшновата – по галерее флигеля, неприятно наклонившейся в сторону двора. Мне казалось, что галерея вот-вот рухнет. В прихожей весь пол тоже был перекошен, словно в Пизанской башне; за одной дверью находился салон – место запретное, полное зеркальных паркетных искорок и тяжелой мебели в полотняных чехлах. Туда никто никогда не ходил, и тетке доставлял удовольствие, пожалуй, уже сам факт существования этого наглухо замкнутого храма. Юный обжора, я однажды проник туда, воспользовавшись то ли кратковременным отсутствием тетки, то ли ее рассеянностью, уж не помню, и подло и без раздумий направился к черному буфету, в котором под стеклянным колпаком вздымалась пирамидка больших марципановых плодов, какие-то яблоки, бананы, груши. Приподняв стекло,

я впился в одно из этих сладких сокровищ. Каким-то чудом я не сломал себе ни одного зуба, но и на блестящей поверхности не осталось следа: марципаны оказались твердокаменными; течение времени наложило на них броню и таким образом уберегло от моей прожорливости. Это было одно из самых горьких разочарований.

Однажды я чуть было не утонул в Железной Воде. Я сидел на берегу, а знакомая пани играла со мной, подавая мне пруттик; в один из моментов она потянула слишком сильно. Я камнем пошел на дно и не успел даже испугаться. Сделалось зелено, потом темно, мокро, кажется, тоже. Потом кто-то вытрясал из меня воду, держа за ноги. Это как бы покрыто дымкой – не знаю, но мне кажется, что купальня в то время была еще разделена; отдельно купались женщины, отдельно мужчины. Если так, значит, я находился с мамой среди женщин.

Мне довелось быть свидетелем двух страшных событий. Однажды во Львов приехал «человек-муха» и в центре города, помнится, на улице Легионов, взбирался по стене многоэтажного дома. Кажется, он пользовался только крючком для застегивания туфель – сведения, почерпнутые мною от нашей служанки, достаточно достоверные, потому что такие крючки действительно существовали; они служили для застегивания дамских туфель на солидную пуговицу и петлю и состояли из металлической ручки и овального крючка. «Человек-муха» упал, собралась толпа, полиция; наутро я увидел на первой странице газеты, кажется «Нового века», фотографию поднятого с брусчатки человека. Его лицо как бы охватывал пружинистыми лапами огромный паук – кажется, у акробата треснуло основание черепа. Не знаю, что с ним стало.

Однажды в нашем доме загорелся или только начал тлеть уголь. В то время у нас были гости, играли в карты; неожиданно раздался энергичный звонок и в коридоре появились совершенно необычные, грозно сверкающие медью боевые каски пожарников. Эвакуировали весь дом. Некоторое время мы стояли на улице, глядя, как через брезентовые змеи в подвалы лили воду, потом, помнится, пошли к жившему неподалеку дяде. Пожар затушили в зародыше, но страх после него у меня так и остался. Я помню, что долго видел кошмарные сны, в которых пожар выступал в виде белой кольшущейся на ветру особы, колотящейся в двери квартиры, заглядывающей в окна; а наяву, когда меня никто не видел, я украдкой прикладывал руку к полу, чтобы проверить, не разогревается ли паркет от угля, потихоньку разгорающегося на нижнем этаже. Впрочем, от страха перед огнем не осталось ничего. Интересно, почему одни переживания приводят у ребенка в действие механизм совершенно патологической восприимчивости, а другие стекают как с гуся вода, не оставляя следа?

Одна из первых книжечек, которые я читал, была заполнена историей о мальчике, который ехал в лифте, а лифт взбунтовался или, может, испортился и, пробив потолок дома, словно воздушный шар, летал с ним над городом. С точки зрения авторов это, вероятно, должно было выглядеть забавно, а меня напугало, и еще четверть века спустя, садясь в лифт, я вспоминал эту вздорную историю. Не знаю также, откуда взялся у меня страх перед насекомыми – мои сверстники с увлечением гонялись за майскими жуками, а я не мог к ним притронуться. Подобная же история была с ночными бабочками. В то же время мышей я совершенно не боялся и даже зарабатывал на них. Мама так брезгала ими, что вынимать трупки из мышеловок приходилось мне; а иногда, когда мыши не желали ловиться, я издали показывал маме серую резиновую мышку, чтобы таким образом получить обусловленное таксой вознаграждение за исполнение похоронных обязанностей.

Достоинна удивления моя забывчивость в отношении товарищей по играм, ровесников, при одновременной чувствительности к различным предметам. Я совершенно не помню никаких детей, зато отлично помню форму моего обруча, даже винтики, соединявшие концы дерева, и то, как научился запускать обруч, чтобы, катясь, он сам возвращался ко мне. Может, потому,

что предметы подчинялись мне беспрекословно, а живые существа обладали собственной волей, слишком непокорной? В конце концов все, что меня окружало и было изготовлено из металла или дерева, становилось моей добычей. Долго, несколько лет я терпеливо ожидал смерти граммофона или по крайней мере его дряхлости и действительно в конце концов дорвался до его внутренностей. Это уже не был аппарат с большой трубой, какие я видел только на выставках и на картинках; наш граммофон был большой, деревянный, у него был резонирующий ящик с внутренним рупором, и его правильнее было бы называть патефоном. Я охотно крутил рукоятку; было у нас несколько пластинок с боевиками; на одной был записан смех – и больше ничего, на других какие-то шлягеры вроде «Больше газа, вот мой принцип, больше газа, пока любовь играет в жилах», оперные арии, но механизм смены иголок и устройство пружинного регулятора интересовали меня гораздо больше музыкального содержания. Абсолютно то же было и с радио. Первый радиоаппарат в нашем доме появился, пожалуй, где-то около 1929 года, хотя я не могу поручиться за эту дату. Это был длинный ящик с эбонитовым верхом, ручками с белыми насечками и стрелками, с гнездами для наушников; у него был огромный динамик на одной ноге, немного похожий на вентилятор, но поймать этим аппаратом можно было лишь местную станцию. Питали это огромное сооружение большие анодные батареи и кислотные аккумуляторы, которые требовалось время от времени заряжать. По счастливому стечению обстоятельств я знаю, что первой львовской передачей, которую мы поймали, была новелла Конрада «Корчма под тремя ведьмами», которую читал мужчина с загробным голосом. Дядя Мундек, муж тети Гани с улицы Свободы, не раз приходил к нам, чтобы совместно с отцом извлекать из шведского ящика марки Эрикссон мощный свист, грохот и мяуканье электрических кошек; они вместе различным образом устанавливали антенну, что-то вроде деревянного креста, на котором был растянута четырехугольная проволока. Иногда сквозь завесу треска удавалось выловить скрип какой-то музыки, словно сигнал с иной планеты, приносящий удовольствие лишь благодаря тому факту, что вообще так здорово, прямо-таки невероятно повезло; об эстетическом удовольствии от приема передачи не могло быть и речи. Дядя, помнится, записывал особо исключительные достижения, вроде приема передачи из Милана или Берлина, где, кажется, работала самая мощная в то время в Европе радиостанция Кенигсвустерхаузен. И этот аппарат тоже переживал медленные долгие сумерки, а когда устарел, пришло время моих кусачек и молотка; я разбил его на мелкие кусочки, сильно разочарованный неинтересностью его строения – никаких пружин, зубчатых колесиков, ничего, только непрозрачные от серебра лампы и конденсаторы в паутине проводов.

Если отец мой боялся различных вещей – он так и не согласился установить наружную антенну на крыше, потому что она якобы «притягивает к себе молнии», а в печах у нас жгли исключительно дрова, поскольку «уголь дает чад, от которого можно задохнуться», то я получил от него в наследство, так сказать, общую диспозицию, а не точные указания адресов этих тревог. Электричество я любил, был с ним всегда на дружеской ноге еще с тех времен, когда притягивал клочки бумаги натертым гребешком, да и отравляющие газы, не исключая чада, пытался по мере возможностей производить. Эти увлечения – электрические, химические, механические – полностью развеялись лишь в следующей, гимназической эпохе; в конце двадцатых годов мои интересы сводились, во всяком случае в принципе, к совершенно банальным занятиям, почти полностью лишенным оригинальности, а именно к тому, что заполняет жизнь всех маленьких мальчишек. Иначе говоря, вначале я проходил различные машинные метаморфозы – бывал кораблем, паровозом, самолетом, работал шатунами, пускал пар, давал «полный назад», и остатки этих привычек жили во мне почти до самых выпускных экзаменов; я помню, что, будучи подрастающим и одетым в мундир гимназистом, я частенько не мог удержаться от того, чтобы на улице «дать контрпар», «переложить руль на бакборт»,

«бросить якорь».

Любовь к подражанию представляет собою, вероятно, естественную фазу развития, немного раздражающую стороннего наблюдателя из-за явной ее обезьянности, потому что обычно хочется, чтобы дети были просто детьми, и по возможности меньше – маленькими взрослыми; в данном случае я особо имею в виду легионы восьмилетних мамочек с маленькими колясочками. Впрочем, я не изменял полу, и, быть может, моими устами говорит инфантилизм мальчика, а точнее – тех его остатков, которые каким-то образом просуществовали в моей постепенно портящейся натуре. Впрочем, бог с ними, с этими не очень умными оценками! Какой-нибудь специалист сказал бы, что просто дети, играя, подготавливают себя к культуре той эпохи, которая их породила. В средневековье играли, вероятно, в лошадей, осаду крепостей, а наверняка и в крестовые походы. Вполне естественна также тенденция к исследованию собственного тела и его возможностей; правда, с этим у меня бывало по-разному. Некоторое время я весьма охотно вешался где попало, конечно, «невзাপравду» и не до конца, накапливая для этого соответствующие веревки и бечевки, а также немного занимался самоистязаниями. Ну, например, обвязывал палец шнурком, чтобы он «заснул», или привязывал самого себя к какой-нибудь дверной ручке, или висел вниз головой на веревочной лестнице (была у меня такая), вдавливал глаз пальцем, чтобы видеть, как раздваиваются предметы; одного я не делал никогда: не засовывал себе в ухо или нос никаких горошин и фасолин; я прекрасно знал, к каким печальным последствиям это могло привести, недаром мой отец был ларингологом. Не знаю, откуда это у меня взялось, но достаточно долго самой необыкновенной частью человеческого тела я считал ногу – точнее, босую ступню. Помню, однажды я крепко подрался с братом Метком (он был старше меня на два года и погиб в Варшаве, как и Стефан) именно из-за ноги: мы сидели на подоконнике в нашей квартире, и я убедил Метка принять предложенный мною уговор: проигрывал тот, кто первым покажет другому босую пятку; воспользовавшись тем, что домашних не было, мы долго катались по полу, сцепившись в смертельной схватке. Фрейдист, наверно, был бы очень обрадован моими признаниями, но от ногопоклонства у меня не осталось и следа.

Я так много времени уделяю этим пустячным мелочам потому, что они почему-то кажутся мне занятнее, чем мои более поздние воспоминания и действия. С течением времени ребенок все отчетливее, все однозначнее становится членом определенного коллектива – в школе, в гимназии – и своим поведением уподобляется ему, во всяком случае, пытается по мере сил это сделать. Поэтому его активность оказывается в значительной степени вторичной и, как я думаю, может сказать о его природных особенностях, о демонах, полученных им в наследство с помощью набора генотипов, меньше, чем поступки первичные, часто совершаемые в одиночестве. Наиболее интересными и достойными внимания кажутся мне первые предпочтения и неприязни – они берутся неизвестно откуда, – а не более поздние, привнесенные, порой представляющие собою простое механическое копирование. Ведь дети, как известно, не боятся даже самых ужасных телесных недостатков близких людей, они просто их не замечают. Необходимо некоторое время, чтобы дети впитали в себя нормы окружающего их мира. Вероятнее всего, мы появляемся на свет, не имея никаких критериев, позволяющих отличить уродство от совершенства, – но это не более чем туманное предположение; не известно, можно ли действительно приучить ребенка к какой-то «обратной» по отношению к обычной эстетике повседневности.

Возвращаясь к миру предметов. Одежда была из них исключена, я ею не интересовался. Этот вывод я делаю на основании того факта, что не помню ни одного наряда, за исключением кожаных тирольских штанишек на зеленых бретельках. Спереди у них был широкий клапан, застегивающийся на роговые пуговицы. Одежда весьма небезопасная и очень неудобная, потому

что можно было попросту... не успеть; помню я еще и то, что мечтал стать обладателем настоящей, застегивающейся на пуговицы ширинки, а не клапана, словно у маленького дитяти.

До сих пор я почти ничего не сказал о двух комнатах нашей квартиры, примечательных тем, что я не имел к ним легального доступа. Это была ожидальня и приемная отца. Ожидательно украшали кресла в чехлах; помнится, дерево было совершенно синим; это выяснилось, когда однажды у одного из них отломился поручень. Стоял там еще застекленный шкафчик с безделушками, но не первосортными: какие-то подносики, серебряные корзиночки – подарки от благодарных пациентов, там же за стеклом лежал разваливающийся стилет в псевдояпонском стиле. Был там еще львовский баян^[13] на деревянной подставке, безмянный, потому что не мой, да и вообще вроде бы ничей, – большая кукла с вытаращенными голубыми глазами, в виртуозно залатанной курточке, штанах и полосатой рубашке. Мне запрещено было прикасаться к нему, поэтому он прожил долго, до самой войны, пережил даже первые ее годы и пал лишь в результате массированных, методически повторявшихся налетов моли. А моли на Браеровской хватало, и каждый домашний обязан был при виде ее пускаться в преследование и остервенело хлопать ладошами, чтобы уничтожить зловерное насекомое. Я же, брезгая этим, всегда хлопал мимо.

Приемная отца была местом запретным, по крайней мере теоретически. Именно поэтому я добросовестно изучал ее при первом удобном случае. Стены были оклеены обоями, имитирующими кафельную плитку. В приемной стояли тощенький твердый диванчик, деревянный шкафчик с лекарствами и небольшим количеством книжек, небольшой врачебный письменный стол, обогревательная лампа, металлический столик с инструментами, а также белое кресло для больных и круглый винтовой стул отца. Обстановка более чем аскетическая, за единственным исключением: на шкафу стоял черный ящик, разделенный на маленькие отделения, и в нем хранились старательно разложенные экспонаты – все, что отец с помощью больших трубок ларингоскопа Брюннинга извлек из дыхательных путей, пищеводов, бронхов. Эти вещи, сами по себе невинные, поражали воображение, стоило подумать, где они находились. Была там искусственная челюсть с четырьмя зубами и крючком, открытая английская булавка, выловленная из дыхательного горла ребенка, разные шпильки, фасоли, которые уже успели немного прорасти, словно и действительно намеревались в своей растительной невинности навсегда осесть в чьем-то носу, позеленевшие монеты, а также большой кусок киноленты. Когда я подрос, отец иногда рассказывал об обстоятельствах и условиях, при которых добыл эти трофеи, об охоте с пистолетной рукояткой трахеоскопа Брюннинга в руке, показывал мне специальные наборы длиннющих крючьев, хитроумных клещей и зондов. Совершенно необычной была история одного больного, которого привезли задыхающимся, ежеминутно теряющим сознание, синюющим. Зеркальце на лбу отца показывало свободное, широко открытое отверстие гортани, и только по специфическому блеску отец сообразил, что ее все-таки что-то закрывает – может быть, стеклышко. Оказалось, это был кусочек киноленты, которую этот пан, кинооператор, съел с блинчиками (с творогом! – и это я помню); неведомо как в начинку попал один кадр пленки и, осев в дыхательном горле, душил кинооператора, действуя, как клапан. Предметов банальных, множество которых отец все время вытаскивал из пациентов, в черном ящике не было вообще: например, рыбьих костей. Мы никогда не могли пообедать вместе – обязательно в дверь кто-нибудь звонил, отец тут же облачался в белый халат и, поблескивая своим зеркальцем, словно огромным третьим глазом, исчезал в приемной.

Позавидовав отцовским лаврам, в которых меня привлекала их спортивная, а не медицинская сторона, я в величайшей тайне подбирался к сложнейшей аппаратуре Брюннинга, составлял длинные никелированные трубки, включал, если было нужно, осветительные

лампочки и предпринимал смелые попытки извлечь посторонние тела из шланга пылесоса, предварительно засунув их туда. На белом винтовом стулике отца я время от времени крутился до седьмого пота и головокружения, включал огромный соллюкс, который не только грел, но и светил (однажды, кажется, у какой-то пациентки загорелись волосы, потому что в них была скрыта целлулоидная шпилька или гребень, но этого я не помню, так как это случилось еще в то время, когда меня не было на этом свете). Если же я уж совершенно ничего не мог придумать, то наполнял пол-литровый шприц, которым отец пользовался при вымывании из ушей так называемых пробок, и брызгал через раскрытое во двор окно вверх, на четвертый этаж, или вниз, на крыльцо хозяев.

Я уже говорил, что писать и читать научился рано. Я рисовал красивые, усеянные множеством цветочков, поздравительные открытки матери и отцу, да и первые мои занятия были типичными, обыкновенными – сказки и стихи вроде тех, о комаре; уже после войны мне в руки случайно попал какой-то сборник стихов для детей, в котором я обнаружил то, что читал тридцать лет назад; и меня удивило, чего только я в этих стихах не находил, будучи шестилетним мальчонкой. Какие-то драмы, неправдоподобные и невероятные, эмоции, уже совершенно отсутствующие у меня теперь, удивления, страсти и смех таились в то время для меня в сочетании невиннейших слов. Почему история пятна на полу, с которым не могла справиться метла, была полна угрюмости, даже угрозы? Почему подсчет бесхвостых ворон превращался в действие чуть ли не магическое, чуть ли не в рискованный вызов, брошенный каким-то скрытым силам, в искушение неведомого лиха? Тем более странно, что я никому не признавался в этих эмоциях, страхах, драматических переживаниях, никому о них не говорил. Вероятно, я не сумел бы этих состояний выразить, описать. Но кроме того – будь я в состоянии в то время подумать об этом, – я, видимо, счел бы, что реакция, подобная моей, является единственно возможной и совершенно естественной. Во всяком случае, тогда я был более отзывчивым инструментом, нежели сегодня, не требовалось многих раздражителей, ударов, чтобы вызвать во мне, или, точнее, чтобы возвести в моей голове, целые небоскребы чувств и переживаний; определенно, авторы книжек для детей сами не ведают, что творят, не представляют себе, каким легковоспламеняющимся – правда, лишь психически – материалом жонглируют. Им кажется, что они рассказывают поучительную историю, а между тем во время чтения она превращается в загадку или в запутанную драму; стремясь рассмешить, они учат мистическим тайнам. Они складывают ямбы, а в какой-нибудь семилетней голове эти ямбы трансформируются в возвышенный гекзаметр. Самыми необыкновенными были эти первые, полузабытые чтения. Потом незаметно и втихую я утонул в книгах.

Я, конечно, был Зверобоем, Маугли, капитаном Немо, в мою память запали обрывки самых неожиданных текстов; покупая после войны книжку Уминского «Путешествие без денег», я старательно ее перелистал, чтобы найти одну из прелестнейших ее фраз: «Пуля, с характерным грохотом пронзив пространство...» – речь шла об охоте на крокодила или носорога, но, увы, мне попало переработанное издание, и изумительная пуля вместе с ее характерным грохотом, к великому моему разочарованию, исчезла из книжки. А «Замкнутое ущелье»? Чего только я не пережил, читая ее! Что же тогда говорить о «Духе джунглей»: такие книги нельзя было читать, лежа под окном и ловко балансируя стулом или забравшись с ногами на стул и облокотившись о крышку стола. Нет, нужна была твердая уверенность, что рядом находится кто-нибудь из взрослых, но все равно бывало страшно. Диккенса я читать не хотел – он был словно беспросветная дождливая осень, а в Дюма я просто-напросто заблудился, затерялся – началось невинно с «Трех мушкетеров», а спустя некоторое время оказалось, что для того, чтобы прочесть все его книги, не хватит жизни.

Позже, в гимназии, я уже читал все, что попадалось под руку: Фредро и Мая, Сенкевича,

Жюля Верна и Уэллса, Словацкого и Питигрилли; это был суций винегрет.

Читая, я обычно что-нибудь ел; я, кажется, уже дал понять, что был обжорой, но обжорой любвеобильным – тут уже пришла пора вспомнить о первых женщинах. Удивительно зигзагообразно все это шло. Первой была Миля, наша прачка; мне было лет, может, пять и, как обычно в таком возрасте, я сразу же хотел жениться. Бедняга страдала расширением вен. Электрических стиральных машин не было, стирка превращала дом, и уж во всяком случае кухню с примыкающими к ней помещениями, в подобие парного ада; на середину выезжала огромная бадья, в котлах вулканически кипело, потом появлялся деревянный рубель для катания белья и половина дома заполнялась гулом и грохотом; во время стирки я неизменно торчал на кухне, тарарам мне нисколько не мешал.

Позже я был влюблен в учительницу начальной школы – не помню, как она выглядела. Однажды она побила моего соседа по парте – в принципе в начальной школе можно было получить только линейкой по вытянутой ладони, но этот парень был упрямым, холодным, ужасно строптивым и наглым, моя возлюбленная выколотила из его штанишек тучи пыли. Он даже не пикнул и слезы не уронил, что мне ужасно понравилось.

Понемногу моей специальностью становилась несчастная любовь. Я до умопомрачения влюбился в девочку, которая была старше меня года на четыре, то есть почти в девушку, если учесть, что мне в то время было около десяти лет. На эту девчонку я глазел издали в Иезуитском саду, почти не двигаясь, словно загипнотизированный. Я был довольно толст, особенно пониже спины; фигура моя уже в то время несколько напоминала грушу, хотя максимального сходства с ней я достиг позже, в гимназии. Лицо у меня было толстощековое, глаза немного навывкате, потому что я по природе был любопытен, ко всему прочему я частенько любил раскрывать рот, кажется, считая, что это придает мне обаяние. Я не располагал тогда особыми шансами, да и, откровенно говоря, не представлял себе каких-либо реальных шагов, ибо не знал, что еще можно делать с девчонками, кроме как бегать за ними вечером по саду от куста к кусту и пугать фонариком. Моя любовь к девчонке из Иезуитского сада, лишенная сколько-нибудь четкой структуры действия, не была отмечена печатью развития и тем не менее была невероятно интенсивной. Кажется, я признался в этом родителям, иначе мне не удавалось бы пребывать достаточно часто в той отличной точке, из которой я мог за нею наблюдать. Она обо мне, пожалуй, и не подозревала, я не обмолвился с ней ни словом, и, однако, линия ее профиля, подбородка, губ врезались мне в память настолько основательно, что их след остался и по сей день.

Любопытно, что бурность такого рода платонических увлечений отнюдь не мешала мне в «любвишках» (если это были «любвишки») более – как бы это сказать? – вульгарных. Однажды, когда мне было, вероятно, лет восемь, отец, войдя на кухню, застал меня за тривиальным занятием: я щипал служанку. Смутившись, я пробормотал что-то вроде «ах да» или «ах, простите» и вышел. Интересно также, что я могу вспомнить кое-что из моих тогдашних действий и даже эмоций, но ничего – из мыслей; вполне возможно, что я вообще не выходил ими за круг непосредственных, данных органами чувств ощущений.

На улице Словацкого, напротив Главной почты находилось бюро паровой компании «Cunard Line», и в каждом его окне стояло по огромной модели океанского парохода. Они преследовали меня, снились мне, эти восхитительные корабли, у них было все как положено, даже бронзовые винты около рулей, такелаж, мачты, бесчисленные ряды иллюминаторов, палубы, мостики, миниатюрные шлюпки, трапы и спасательные круги. Я мечтал о них безнадежно и пылко – вероятно, столь же платонически Джек Потрошитель мечтал о девушках, которые не попали к нему в руки. Его мечтания были, наверно, столь же невинными, как и мои у окон «Cunard Line», лишь их осуществление открывало путь к преступлению. Поэтому, может

быть, и хорошо, что ни к одному из этих двухметровых чудес мне так и не удалось приблизиться на расстояние вытянутой руки, ибо раньше или позже она потянулась бы за молотком.

Ребенок, которым я был, интересуется меня, а одновременно и беспокоит. Правда, я не убивал никого, кроме кукол и граммофонов, но при этом следует учесть, что я был физически слабым и опасался репрессий со стороны взрослых. Отец меня никогда не бил, мать иногда шлепала, это все, но ведь было множество иных, менее прямолинейных методов и средств, начиная от словесного внушения и кончая лишением сладкого. Если б четырехлетние дети по силе равнялись взрослым, мир наш выглядел бы иначе. Они в самом деле образуют совершенно иную касту, определенно не менее сложны, чем взрослые, только эта сложность сидит у них в другом месте. Разве не с отчаянием в сердце я превращал в хлам игрушки? Разве не жалел потом (независимо от кар) об их утрате? Почему, будучи таким пугливым, я обожал рискованные ситуации? Что меня все время толкало по возможности дальше высунуться из окна? Я ведь хорошо знал, хотя бы благодаря истории с «человеком-мухой», к чему может привести падение с третьего этажа. Я также помню, как напугал дядю, когда зимой во время каникул в Татарове неожиданно влез под паровоз, чтобы срочно отломить свисающую с цилиндра ледяную сосульку. Я ужасно боялся, что поезд тронется и отрежет мне ноги, но, видимо, эта сосулька была мне чрезвычайно нужна. Может, это было то, что психологи именуют «вынужденное действие», что-то вроде навязчивой идеи? Я проходил – это известное явление – через периоды счета окон, дверей, через фазы сложных ритуалов, должен был ходить так, чтобы ступать только на плиты тротуаров, не касаясь ногами мест их соединения, а уж с дыханием у меня были самые невероятные заботы. Я пробовал не дышать, пока возможно, или же делать это как-нибудь по-особому, придумывая какие-то совершенно необыкновенные вдохи и выдохи, особенно перед тем как заснуть; я как-то хитроумно укладывал думки и подушки под голову, строил из одеяла какой-то не то курятник, не то собачью конуру, и так далее.

Бывали у меня – иногда во время болезни, а порой и когда я был совершенно здоров – особые переживания, именуемые – как я узнал тридцать лет спустя – нарушениями схемы строения тела. Я лежал в постели, сложив руки на груди – и вдруг кисти рук начинали расти, в то же время сам я делался совершенно маленьким под их неправдоподобно большим грузом; это повторялось всегда одинаково, кажется, и наяву. Кулаки выросли до размеров воистину гигантских, пальцы превращались в какие-то замкнутые горные цепи, все в них делалось слоноподобным, менструальным; я немного боялся этого, но опять же не особенно, это было очень странно – я об этом никому не говорил.

Теперь я вижу, что был ребенком скорее одиноким, но об этом я совершенно не знал. Мне очень хотелось иметь братишку или сестренку, а вернее – опасаясь – маленького невольника. Я охотно читал объявления в газетах, в которых шла речь о передаче детей в собственность. Такие анонсы появлялись довольно часто. Мне мечталось, что было бы отлично, если бы мы взяли в дом такого ребенка; неопределенность подобного желания представляется мне сейчас несколько подозрительной.

Сверстники приходили ко мне не очень часто. Это не значит, что их вообще не было, но их посещения были исключением из правила, если не редкостью.

По воскресеньям, летом или осенью, мы обычно ездили за город, всегда в одно и то же место, а именно – в ресторационный городской сад пана Руцкого, лежавший на Стрыйском шоссе, около шлагбаума. Сбор пошрины был забавным и любопытным перерывом в езде, во время которого я, конечно, сидел на козлах. Извозчик, точнее кучер, всегда был один и тот же. Звали его не то Крамер, не то Кремер, но я именовал его Толстяком. Так оно и прижилось. Он был коренастым, краснолицым и очень терпеливым. Именно от него я получил основы знаний по коневодству, между прочим, узнал, что лошадь уважает, слушается и боится человека потому, что у нее большие глаза, которые все увеличивают, поэтому человек кажется ей гораздо больше ее самой. Вот почему лошади так пугливы – ведь им все кажется таким громадным!

Мне приходилось придумывать себе занятия на те долгие часы, которые отец, дядя Фриц и остальные проводили под фруктовыми деревьями, играя в карты; была у Руцкого кегельная, но мне не хватало силы бросать огромный деревянный шар – в конце концов и до этого я дорос тоже. Иногда мне удавалось не только вести с Толстяком теоретические беседы, но и убедить его выпрячь лошадь, на которой я немного ездил; а если он отказывал – впрочем, вполне вежливо – или просто спал в дрожках, закинув ноги на козлы, я забирался в малинник, где росло огромное количество жестокой крапивы, и подкрадывался к играющим. Дядя носил котелок, который страшно меня интриговал, так как был твердым. Я изо всех сил пытался сломать у него доньшко, но оно сопротивлялось, словно под черным фетром была прикреплена стальная пластина.

Видимо, мне вполне хватало самого себя, так как я не помню, чтобы когда-нибудь скучал. Ведь у меня было все: игрушки, книги, пластилин – я лепил из него слонов, лошадей (они всегда получались хуже), сардельки, колбаски, а то и кукол. У кукол я выбирал из живота пластилин и вкладывал внутрь кишочки, желудки, легкие – тоже пластилиновые; я уже немного знал, как там все внутри устроено. Лучше всего это получалось, когда пластилин был разноцветный, потому что потом можно было залепить живот пациенту и мять его руками до тех пор, пока из него не получалось забавное месиво с перепутавшимися, размазавшимися слоями разноцветного пластилина; из этой смеси изготавливалась очередная жертва, и так до бесконечности.

Будучи до самой гимназии не очень самостоятельным, я, если не считать ближайших окрестностей, плохо знал Львов; немного – улицу Казимировскую, район тюрьмы Бригиток – мрачного здания с толстыми стенами, неподалеку оттуда начиналась боковая улица Бернштейна, где у дяди Фрица была адвокатская контора. Ну, еще Грудецкую, по которой ездили на каникулы, то есть на вокзал, красивый и огромный, расположенный в конце аллеи Фоша.

Дядя Фриц жил на улице Костюшки, неподалеку от Браеровской, и я мог дойти туда сам, чего, впрочем, на практике не случалось. Его квартиры я немного побаивался; причиной тому была медвежья шкура с головой, ощерившей разинутую пасть. Шкура лежала посредине

гостиной, и много воды утекло в Пелтви, пока я решился сунуть в пасть этому медведю пальцы. Дядю я очень любил, хотя однажды он жестоко подшутил надо мной. Он принес мне в подарок огромный пакет, на который я тут же набросился, чтобы развернуть упаковку. Это длилось долго, минут пятнадцать, так что, наконец, вспотевший, дрожащий, я оказался среди пораскиданных на все стороны бумаг, держа в руке малюсенькую, меньше фасолины, куколку. Дядя долго смеялся над своей шуткой, не подозревая, как сильно ранил мое сердце.

Если я вообще соглашался ходить на улицу Костюшки, то, пожалуй, только из-за пианино, черного, огромного, на котором, кажется, никто не играл. Я любил измываться над его клавиатурой, потому что обожал мощные удары, бурную и безудержную какофонию; слух у меня никогда не был блестящим, и, к моему счастью, родители даже не пытались подвергать мою музыкальность, дубовую от природы, испытанию наукой игры на каком-либо инструменте.

Кроме бесчисленного множества тяжелых и длинных гардин, в которых души не чаяла вторая жена дяди, тетья Нюня, на улице Костюшки имелась весьма пышная, кажется, «а-ля Луи», мебель. Я помню золоченое зеркало на чьих-то ногах (кажется, льва), грифона на подставке, деревянного и раскрашенного, с маленьким, сидящим на нем верхом негритенком, подсвечник, изукрашенный тысячью кусочков радужного стекла, а также любопытный предмет: стоящую в темной нише огромную бочку из червоной меди, абсолютно бесполезную и потому интригующую.

Этому дяде я многим обязан, потому что он позволил мне перетащить на Браеровскую улицу энциклопедию восьмидесятых годов Брокгауза и Майера, которая вздымалась у него в конторе. Я носил эти огромные тома по одному, настолько они были тяжелы. Разумеется, читать их я не мог, ведь я не знал немецкого, но они были заполнены цветными вклейками, черно-белыми гравюрами на дереве – я проводил над этими тяжелыми и пыльными томищами много времени. Мир, который рисовала энциклопедия, был уже тогда, в двадцатые годы, немного окаменевшим, почти все отдавало анахронизмом, но, во-первых, я об этом не думал, а во-вторых, это нисколько мне не мешало. Поезда восьмидесятых годов, железные мосты с чугунными гирляндами, локомотивы с обильно украшенными металлическим кружевом трубами, равно как и управляющие ими особы, бородатые и усатые паны, все это казалось мне восхитительным, насыщенным невыразимым очарованием. Тогдашние динамо-машины – архаические сооружения с колесами, спицы которых были, разумеется, изукрашены резьбой, электрические моторы, а также различные «новейшие» изобретения, вроде черпавших энергию из аккумуляторов дрожек без лошадей, – все это составляло содержание последнего, дополнительного тома; самым же забавным казалось мне то, что в этих фолиантах было все, и к тому же все это соседствовало друг с другом – слоны, птицы, растения, мамонты, прусские ордена на цветных вклейках, портреты «сильных мира сего», негритянские физиономии, кувшины, драгоценности. Я с головой погружался в энциклопедию; каждый очередной том листал старательно от корки до корки, силясь ничего не пропустить. Не помню, знал ли я вообще, что это за издание и чему оно, собственно, должно служить. Пожалуй, это меня не интересовало. Так что даже и не понимая, что здесь сосредоточен весь мир, каталогизированный и описанный, или же его разрез, сделанный вдоль восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, я, думается, воспринимал все правильно: все там было для меня одинаково хорошо, хотя, естественно, не все одинаково интересно. Энциклопедия была отличным дополнением к зондированиям, проводимым мною в отцовской библиотеке. Многие из имеющихся в ней гравюр послужили мне, надо думать, источником вдохновения в тот период, когда меня охватила страсть к изобретательству; кроме того, энциклопедия, завоевавшая в нашей квартире права гражданства и расставленная в старом белом шкафу в комнате рядом с кухней, служила мне своеобразным тайником. Между книгами и задней

стенкой шкафа было достаточно места, чтобы поставить там флакончики с тайными микстурами или просто с винами, в величайшей тайне сливаемыми из стоящих в буфете бутылок.

Насколько же мне легче рассказывать о предметах раннего детства, нежели о людях! Но, если так можно выразиться, лишь предметы были в то время со мной искренни. Они отдавались мне полностью, ничего не утаивая; это относится и к тем, которые – отданные на мою милость – я уничтожал, равно как и к тем, с которыми я ничего не мог поделать. Конечно, у родителей и близких были вполне понятные причины не верить ребенку свои проблемы и заботы. Это нормально, иначе быть не может. Но отголоски этих проблем и забот или же их последствия все равно рано или поздно доходили до меня в отрывках, не полно, не совсем понятно; ни о чьей злой воле тут не может быть и речи. Впоследствии мне многое стало ясным, и я мог бы привести свой рассказ – односторонний и зачастую лишенный ключа, помогающего восстановить истинные (с точки зрения взрослых) пропорции описываемых событий, – в необходимый порядок, введя в него нужные пояснения и коррективы. Но именно этого-то я и не хочу делать, поскольку стремлюсь по возможности избежать двойной перспективы. Ведь я пишу не историю своей семьи или ее отдельных представителей. Мои намерения скромнее. Меня интересует только ребенок, которым был я. Ведь ребенок не считает свой мир несовершенным, полным провалов, требующим ретроспективных пополнений в каком-то неопределенном будущем – и поступает так, разумеется, инстинктивно, поскольку своего особого положения в мире взрослых не осознает. Тот, кто описывает общество, поклоняющееся магии, не должен на каждом шагу корректировать его верований, приводя различные опровержения, комментарии, рационалистические разъяснения, непрерывно отрицая преувеличения, подвергая сомнению правомочность заклятий и результативность чар. Если они и не оказывают реального воздействия на материальный мир, то наверняка влияют, и к тому же вполне однозначно, на тех, кто в них верит. То же и с ребенком. В этой субъективной перспективе учитываются лишь переживания, а не истинные интерпретации фактов, и селекция отделяет не истинные версии от версий фальшивых, а превращается в молчаливую исполнительницу приказов памяти, которая зарегистрировала то, что зарегистрировала, без какой-либо возможности апеллировать к прошлому.

Упорядочивать воспоминания детства – занятие довольно рискованное, особенно для человека с такой скверной памятью, как у меня, тем более если учесть, что я еще вынужден держать в узде профессионализм фантаста, то есть стремление группировать отдельные, пусть даже и соответствующие фактам, но не связанные друг с другом подробности в единое целое. Будучи автором не только фантастических книг, но и одного романа на современную тему, [\[14\]](#) я уже столько раз конструировал биографии фиктивных лиц, что, обращаясь к собственной персоне, к тому же существовавшей много лет назад, обязан поставить себя под возможно более строгий самоконтроль. Очень литературной – в профессиональном понимании этого слова – является привычка, стремление создавать именно нечто целостное, то есть определенные упорядочения, последовательность событий, которые каким-то образом замыкались бы и взаимообъясняли друг друга. Впрочем, как часто думают, эта склонность представляет собою одно из основных свойств человеческой натуры, как в ее наиболее единичных, так и общественно-коллективных проявлениях.

Так повелось издревле, ибо что такое, например, мифы, как не навязывание видимости порядка даже таким явлениям, которые его в себе не содержат. Все мифы, сколь бы далеки они ни были от философских систем или научных теорий, сходятся с ними в том, что отрицают возможность всеобщего и уж, во всяком случае, достаточно распространенного хаоса как закономерности бытия. Итак, хаос в чистом виде, не нарушенном какими-либо разновидностями порядка, вероятнее всего, нигде в материальном мире не существует; однако это не значит, что мы согласны некритично принять всякий род порядка, поддающегося объективному выделению в тех или иных явлениях. Ни романист, ни даже биограф не могут удовлетворяться использованием одних лишь статистических закономерностей типа больших чисел или броуновского движения молекул; стало быть, туда, где главенствуют упорядочения именно такого типа, характеризующие лишь общий ход развития событий и оставляющие множество лазеек для слепого случая, легче всего проникает, даже не всегда сознательно вводимый автором, надпорядок, такой его избыток, которому нет аналога в реальном мире и который является либо выражением религиозных идеалов, либо результатом одностороннего видения мира, либо, наконец, следствием подчинения бытующей в данный момент методологии или эстетике. Тот, кто в описываемую действительность «вживляет» избыток отсутствующего в ней порядка, чаще всего рисует ее в несколько облагороженном виде. Так, подчеркивая, скажем, идилличность, невинность детских лет, автор конструирует «безгрешные годы», либо, наоборот, стремясь активно избежать такого подхода, создает мир детей – маленьких чудовищ, ограничиваясь исключительно биографическими сведениями, так как именно они интересуют нас в данном случае. О том, чтобы кто-то, не придерживаясь каких-либо канонов, сказал «все», не может быть и речи, поскольку селекция производится всегда, отличаются лишь наборы критериев, использованных для отсева. Наконец, если я стараюсь основываться на памяти, то я доверяюсь ей как селектирующему фактору, ставлю себя в зависимость от того, что сумел запомнить; поэтому я считаю, что граница способности запоминать является барьером объективности, преодолеть который невозможно.

Работая над этими несколькими десятками страниц воспоминаний, я постоянно ощущал довольно сильное беспокойство, так как мне частенько казалось, что я описываю не сами события, а лишь их в какой-то степени литературно перепародированные версии. В самом деле, «Непотерянное время» я начинал с детства героя, и эту вступительную часть книги, которую я многократно переписывал и переделывал, я в конце концов решил отбросить. А именно там

содержалось максимальное количество материалов, касавшихся воспоминаний раннего детства. Кроме того, различные крохи этого детства расплылись у меня по другим книгам, поэтому я оказался в неблагоприятном положении человека, который не может просто так вот запускать руку в мешок, в котором содержатся, пусть даже совершенно хаотически перемешанные, хроникальные факты, а вынужден как бы силой вырывать их из самых разнообразных конструкций, в которых они обросли предельно совершенными имитациями правды. Иронический вариант ворожбы ученика чернокнижника, или, попросту говоря, лгуна, начинающего путаться в собственных измышлениях.

Вполне понятно, что в большей степени это касается переживаний, психических реакций, нежели чисто сенсуальных^[15] впечатлений; говоря это, я подрываю – в чем отдаю себе отчет – самое концепцию, которой должен был руководствоваться: изолировать интерпретации и версии переживаний от них самих, выделить эти переживания в чистом виде. Это невозможно, если мы намерены излагать всю правду, и только правду. Ребенок, которым я был, превращается в этом случае в какую-то кантовскую «вещь в себе». Мне приходится додумывать его, никогда не зная, в какой степени мне это удастся, когда я лишь восстанавливаю, реконструирую, а когда переступаю очерченный порог, из домыслов создаю фрагменты действительности, вообще не существовавшей.

Довольно забавно, что с весьма похожими заботами человеческие стремления сталкиваются в областях, казалось бы, совершенно не связанных с попытками вернуться в «мир детских лет». Так, например, оказывается, что если только потребовать четкости и очень строгой определенности, если точность продвигать чрезмерно далеко, то уже невозможно отделить объективные факты от их интерпретаций, поскольку у истоков языка его исходные элементы, отдельные слова, равно как и законы грамматики и синтаксиса, являются интерпретациями, а не абсолютно точными фотографиями предметов или психических явлений. Конечно, подобная констатация не утешение, хотя в какой-то степени она и может снять с нас тяжесть греха. Избыток знания подчасную оказывается бременем, балластом, ограничивающим свободу действия. Тот, кто хорошо знает, сколько «теорий ребенка» существует в психологии или антропологии, должен отдавать себе отчет в том, что как бы он ни желал, как бы ни стремился быть прямолинейным, искренним, подлинным – предрасположения его интеллекта, характера неизбежно будут сносить его в сторону одного из этих теоретических положений, ибо того ребенка, которым он был, он видит сквозь набор линз, надетых на нос последующими годами жизни, и тут уж ничего не попишешь.

Все это относится к «теории ребенка», как существа непознанного; постепенно он теряет эти черты; но одновременно, мне кажется, происходит процесс своеобразного опошления, приспособления к группе, в которой – и вместе с которой – этот ребенок растет. Извечный спор о том, что является в человеке врожденным, а что приобретено в результате влияния окружающей среды, охватывает лишь первые годы детства; и кто знает, не ждут ли нас в этой области не только теоретические откровения, но и революция в педагогике, если действительно окажется, что границу формирования, приобщения к культуре и ее достижениям, в том числе и интеллектуальным, можно весьма значительно сместить в сторону первых лет жизни. Это, вероятно, могло бы сделать из малолетних детей людей, владеющих даже элементами высшей математики.

Впрочем, давайте отложим разговор о будущем, коль на этот раз я говорю о прошлом. Занимаясь им, я могу основываться исключительно на памяти. Тщетно я пытался восполнить ее пробелы, ее анархический диктат, просматривая старые книги и альбомы. Правда, изображенные в них улицы, площади, костелы мне знакомы, близки, я чувствовал их как бы своими, но это ощущение можно, пожалуй, сравнить с ощущением доменной мыши, для которой

закоулки и щели квартиры более близки и «свойски», нежели для законных владельцев жилища. Поразительно, что план города – сухая схема расположения улиц, рисунок довольно-таки абстрактный – говорил мне больше, чем картинки в книгах и альбомах. Сдается, память с ее механизмами, столь упорно сопротивляющимися расшифровке наукой, многообразна и как бы многослойна.

Из дому до гимназии я, пожалуй, мог бы пройти с закрытыми глазами даже сегодня: эта дорога настолько запомнилась мне своим повторением, что стала чем-то вроде мелодии – тем, что психологи называют «кинетической мелодией». И опять-таки невольно напрашивается сравнение с мышью, которая, отлично ориентируясь в окружении, наверняка не способна к его эстетической оценке – так же, как не был способен я, будучи львовским гимназистом. Несомненно, я проходил мимо памятников архитектуры, армянского собора, старых домов Рынка со знаменитой Черной Каменицей во главе, но я ничего не могу о них сказать. В половине восьмого утра я доливал в кофе воды, чтобы остудить его, и шел по улицам Монюшко, Шопена, через площадь Смолки с каменным Смолкой посередине, по Ягеллонской, проходил мимо кино «Марысенька» к улице Легионов. В глубине, слева, маячил театр, но меня, словно маяк моряка, притягивал домик гораздо менее пышный, стоящий на углу площади Духа, – киоск с изделиями пана Кавураса.

Он изготавливал халву в двух видах упаковки, по 10 и 20 грошей. Я обычно получал 50 грошей на неделю и, таким образом, в понедельник мог объедаться халвой; но начиная со среды положение резко менялось. Изводила меня также сложнейшая проблема, стоящая где-то на пограничье стереометрии и алгебры: что лучше – одна пачка за 20 грошей или две по 10? Коварный Кавурас затруднял решение, придавая пачкам несравнимые формы, и я никогда не был уверен, что решил правильно.

Дальше дорога пересекала Рынок, шла мимо огромного сундука Магистрата с башней Ратуши, мимо колодца с Нептуном и каменных львов, присевших на корточки у ворот, через узкую Русскую улицу на Подвалье, где стоял трехэтажный дом гимназии, окруженный деревьями.

Когда у меня не было ни гроша за душой, я предпочитал ходить мимо так называемого «Венского кафе», может, чтобы вид маслянистых стен халвы за стеклом киоска не ранил мне сердце. У кафе находился первый ориентир – электрические часы. Следующие висели на Рынке высоко на башне Ратуши. Они показывали, можно ли еще задержаться у какой-нибудь витрины, или следует ускорить шаг. Это, собственно, все, что запомнил глаз, да и многое из того, чем был занят мой дух. Я воистину был мышью, а общество делало все, чтобы с помощью педагогики превратить меня в человека. Сопrotивлялся ли я? Как индивидуум даже не очень, скорее уж как частица ученического коллектива. Вероятно, это действительно так – об этом уже поведали величайшие писатели мира. Они показали гимназию как сложную игру, то есть борьбу противоположных интересов, в которой преподавательская сторона, стоя на позициях власти и авторитета, пытается вдолбить в головы ученикам максимум информации, а сторона противоположная, естественно, более слабая, всеми силами и способами увиливает от этой информации. Это не удастся ей полностью, но бездумное, отчаянное сопротивление класса – мешанина маленьких подлостей и всеобщей инертности – стремится по мере сил извратить, осквернить или хотя бы только уничтожающе переосмыслить все наглядные пособия, все материальные средства процесса обучения. Микрорейзаж педагогической баталистики не богат. Однако он представляет собою поле для поединков во время опроса или массового избиения – то есть контрольных работ, – всякого рода петляния, вывертов, молчания, обходных маневров, когда каждая парта становится редутом, мел порой превращается в снаряд, а последним прибежищем – ох как часто! – становится туалет.

Таким образом, в результате всеобщих усилий во всех щелях и трещинах официальной структуры возникает своеобразная гимназическая субкультура, ибо, измываясь над партами, выцарапывая на стенах туалета бог знает что, топя в чернилах мух, смачивая водой мел, разрывая губки для классных досок, подрисовывая национальным героям женского пола усы, а их мужским аналогам бюсты, класс только на первый взгляд отвечает возведением хаоса на требования порядка. В действительности и он строит порядок, однако такой, который сводит на нет – путем обесмысливания – ценность материальных пособий науки: из ручек делает предметы товарищеских забав или озверивает тетради, придавая им ослиные уши. Стало быть, в кажущемся сумасшествии рычащей ученической братии есть метод и даже религия, поскольку класс, окопавшийся на партах напротив кафедры учителя, недаром взывает к божеству Великого Оглупления.

На мне производили эксперименты. Я поступил в первый класс старой гимназии, кажется, в 1931 году и украсил воротник, застегивающийся на крючки, одной серебряной полоской, к которой со временем предстояло присоединиться следующим, а в пятом классе серебро должно было уступить место золоту. Однако из второго класса я вновь перешел в первый – нового типа. Твердые фуражки с желтым бархатным околышем, из-за которых нас прозвали «канарейками», уступили место мягким «матеевкам»;^[16] прогресс выразился и в новом покрое школьной формы: синих куртках и брюках с голубым кантом, а также рубашке, расстегнутой на шее; кроме того, нам выдали нарукавные нашивки, имеющие вид щита. Вторая гимназия стала именоваться Пятьсот шестидесятой. Началась борьба против нашивок. Около восьми часов утра директор, сопровождаемый кем-либо из классных наставников, крутился перед гимназией, среди усердно сдергивающих фуражки учеников. Время от времени он подзывал кого-нибудь, чтобы проверить, прикреплена ли нашивка согласно инструкции или только прихвачена на живую нитку. Поэтому многие носили в кармане портняжные принадлежности и, предупрежденные знакомыми где-нибудь на углу Русской улицы, лихорадочно затирали следы порочной жизни. Что касается меня, то нашивка у меня всегда была пришита намертво, чего я стыдился и с чем боролся окольными путями, в конце концов придумав, как можно ею воспользоваться в рамках той субкультуры, о которой я только что говорил. Но об этом позже.

Одновременно с кончиной старой гимназии я пережил гибель парт – почти во всех классах их заменили стулья и современные столы с ящиками. Парты я вспоминаю лишь как что-то архаическое, некий реликт минувших эпох, с ними я мимолетно столкнулся под конец их существования и вспоминаю о них не без искреннего волнения. Впрочем, бог с ними, с чувствами, – мне кажется, следовало бы собрать последние экземпляры школьных парт, если они вообще еще где-то сохранились, и поместить в музеи на равных правах с остатками мустьерской.^[17] или ориньякской^[18] культур. Палеолитический человек занимался резьбой по камню, гимназический – по парте. Это был благодатный материал. Мудрые столяры проектировали их, имея в виду бесчисленные волны учеников, которые непрекращающимся прибоем будут пытаться изничтожить деревянные окопы. Края парт со временем стали гладкими, словно слоновая кость, потому что за них спазматически хватались бесчисленные поколения вызванных отвечать гимназистов. Пот и чернила настолько впитались в толстые доски, что постепенно они приобрели свой неопишуемый серо-буро-малиновый цвет; стальные перья, лезвия перочинных ножей и просто ногти, а кто знает, может быть, и зубы, испещрили их вязью таинственных знаков, иероглифических писем, слои которых накладывались один на другой, ибо каждое очередное поколение закрепляло и продолжало труд предыдущих; так появились глубокие и глубокомысленные рытвины, несравненную же гладкость отверстиям от выпавших сучков придал сизифов труд лекционных часов; но и это еще не все. Когда обострения достигали апогея и приходилось сидеть, заложив руки за спину, глаза, эти слуги

души, над которыми учителя уже не властны, в последней попытке уклониться от получения знаний почивали на рисунке древесных слоев; при соответствующей сосредоточенности можно было начисто оглохнуть к учительским словам. Как Гамлет, если б его заключить в ореховую скорлупу, чувствовал бы себя владыкой бескрайних просторов, так и каждый из нас мог благодаря парте сливаться с абстрактными меандрами ее поверхности, охваченный сладостным обалдением, передохнуть в этой двуличной разновидности эскапизма^[19] Вероятно, вырезать ерунду можно и на полированной крышке стола, но это уже типичное не то. Это делалось без уверенности, а стало быть, и без артистизма, скорее по инерции. У добротной парты были две не очень глубокие выемки для чернильниц; мы использовали специальную их разновидность – стеклянные баночки с воронкообразным отверстием, довольно глубоко входящим внутрь, вследствие чего чернила должны были не выливаться, если чернильницу перевернуть. Уверяю вас, они выливались, а если не хотели делать этого сразу, мы им помогали. Шариковых ручек в то время еще не существовало, на авторучки смотрели неодобрительно; писали мы обычными стальными перьями, которыми можно и в цель кидать и соседей покарывать в рамках субкультуры. Мы своими действиями доказывали, что нет такого предмета, который нельзя было бы поставить на службу целям, противоречащим намерениям их создателей. Культуру, как известно, наследуют поколения за поколениями; с незапамятных времен было известно, для чего существуют парты, что же касается столов, то мы были в полном неведении относительно того, что с ними делать. Однако побежденными мы себя не признали, в результате чего у стульев поотлетали ножки. Популярно это именовалось вандализмом. Вероятно, это и был вандализм, хотя, с другой стороны, чем, собственно, отличались от нас святые писаки средневековых монастырей, соскребавшие с пергаментов ценные записи, чтобы поместить на их место свои неинтересные тексты?

Тем, чем для христианина является рай, для каждого из нас был Высокий Замок. Туда ходили, когда из-за непредвиденного отсутствия учителя пропадал какой-нибудь урок – одна из самых приятных неожиданностей, которыми изредка баловала нас судьба. Это было место не для прогульчиков, так как в аллеях, между скамьями и деревьями можно было натолкнуться на кого-либо из воспитателей; местом укрытия дезертиров служили ямы из-под выкорчеванных деревьев в Кайзервальде и районы за Песчаной горой, там они беспечно слонялись в чаще, досыта накуриваясь «Силезскими раритасами» или «Юнаками». К Высокому же Замку мы отправлялись открыто, шумно, в сладостном ореоле легального бездельничанья, упиваясь избытком неожиданно свалившейся на нас свободы. От этого восхитительного места гимназию отделяли, помнится, две трамвайные остановки; однако мы никогда не ездили туда трамваем – это было слишком дорогое удовольствие. Обычно мы шли вверх по Театынской улице, а в нескольких десятках шагов за домами, там, где кончались трамвайные рельсы, склон холма улетал вниз, открывая вид на огромную панораму Львова, с правой стороны обрамленную последними отрогами Песчаной горы, а с левой – парковыми зарослями, за которыми скрывался Курган Любельской Унии.^[20] Далеко внизу чернели переплетения путей железнодорожной станции Подзамче с маленькими паровозиками, а еще дальше до самого зеленого горизонта голубоватой дымкой дышало воздушное пространство.

От Высокого Замка сохранились остатки стены, руины, которые я едва помню. Понадобилось тридцать лет, чтобы я над этим задумался и узнал, что Высокий Замок был названием некогда красивого строения, а называлось оно так потому, что в городе когда-то существовал еще и Низкий Замок. Впрочем, в описываемое время руины и другие достопримечательные памятники веков меня совершенно не интересовали. Что же в таком случае мы там делали? Собственно, ничего. Правда, несколько раз в году мы с отцом ходили на Курган Любельской Унии или на Песчаную гору, но это никогда не делалось в учебное время. В

учебные же дни можно было воспользоваться только случайно выпавшей возможностью. За восемь гимназических лет я бывал в Замке несчетное количество раз, но, кроме теней огромных каштанов да низких живых изгородей, за которыми голубела панорама города, не помню ничего, потому что это, собственно, было даже не место, а некое идеальное состояние, по своей насыщенности сравнимое разве что с первым днем каникул – еще не затронутым, не надкушенным, при одной лишь мысли о котором сердце замирало от сладостного предчувствия, поскольку всему еще только предстояло случиться, а одновременно с этим появлялась склонность к расточению времени, разлившегося океаном на весь июнь и июль. Высокий же Замок открывался нам всего на один час, поэтому каждой минутой надлежало насытиться, испить ее до конца, заполнить откровенным бездельем, старательным ничегонеделанием; мы утопали в нем, позволяли ему нести себя, словно теплой реке под облачным небом, это не был погруженный в молитвы скромный христианский рай, а скорее нирвана – никаких искушений, желаний, – блаженство, существующее само по себе, даже наши глотки, охрипшие от крика на переменах, охватывало, видимо, это небесное дуновение, так как хоть мы немного и верещали, но больше по привычке, чем по необходимости.

Туда, точнее, на холмистый участок за Песчаной горой, мы ходили также и на уроках природоведения, но это было совершенно иное дело, особенно для меня, всегда бывшего с растениями не в ладах. Наш «природник», Носкевич, не мог надивиться, как это у меня во время классифицирования с определителем Ростафиньского^[21] в руках травы и колючки превращались чуть ли не в рододендроны. Покрытосемянные, голосемянные – одни эти названия не знаю почему мне противны; в свое оправдание я, вероятно, мог бы сказать, что растения действуют мне на нервы. Ведь это как бы наши отдаленные родственники, всегда и всем удовлетворенные, если не хуже: абсолютно безразличные ко всему. С мышами, львами, даже муравьями мы разделяем множество забот: боимся, желаем или добиваемся чего-то, а растительное безразличие к судьбе кажется мне предательством по отношению к общему делу. Неужели столь причудливые взгляды были у меня на двенадцатом году жизни? Пожалуй, нет. И, однако, неприязнь, не имеющую, правда, ничего общего с необходимостью есть шпинат, я испытывал к этим зеленым побратимам с незапамятных лет.

Лишь возвращаясь в гимназию с подобной сестры, мы замечали, насколько мал школьный двор – врезанная в склон Валов горизонтальная площадка, вытоптанная до предела. Двор был огорожен низкими каменными столбиками, соединенными толстыми металлическими прутьями, – не преграда, конечно, но переступить эту границу запрещалось. Поэтому необходимо было максимально использовать отведенное пространство, не оставляя без внимания ни сантиметра. Со стороны свободного мира приходил продавец пряников и вместе с ними приносил нам сладость азарта. Двое школяров платили по пять грошей; он же, многозначительно позвякав медяками в кармане грязного фартука, вынимал горсть монет и считал: чет – нечет; угадавший выигрывал и немедленно съедал десятигрошовый пряник. Мне никогда не разрешалось их есть. Считалось, что ими можно отравиться, как утверждал отец. Я ему не возражал, хотя все мои товарищи неизменно оставались в добром здравии. У самой стены корпуса со склона спускалась бетонированная канава; в ней мы бесконечно, то есть от звонка до звонка, мыли каблуки и подошвы, сползая, съезжая и взбираясь наверх. Кроме того, мы расшатали все прутья, когда-то наглухо зацементированные в бетон столбиков, содрали (я чуть было не сказал – обгрызли) кору с окружавших двор деревьев; иначе говоря, мы были как бы коллективным аббатом Фариа из романа Дюма.^[22] Если б можно было каким-либо образом собрать воедино энергию всех гимназистов мира, вероятно, удалось бы Землю насквозь пробуравить и высушить океаны, но предварительно это следовало бы строжайше запретить.

Я набросал нечто вроде заявки на очерки под названиями «Гимназия как субкультура» и

«Гимназия как стихия». Но она была и еще кое-чем, ибо была обществом. Определенно. И как всякое общество, мы управлялись не только легальными законами, имея демократически избранное самоуправление со старостой во главе, казной, казначеем (я тоже некоторое время был им) и дежурными на уроках, но и законами автономными, которые возникали и действовали как бы самостоятельно. В иерархии последних были две четко выделявшиеся должности: недотепы и классного шута. Недотепой становились по решению класса, решению неофициальному, но безапелляционному. Идеальным кандидатом считался какой-нибудь толстый, неловкий мальчишка, над которым можно было слегка поизмываться, впрочем, не жестоко – только так, чтобы он не забывал о своем положении; если он смирился с назначением, то мог жить вполне сносно. У класса обычно был только один недотепа, словно бы большее их количество бросало тень на весь класс. В нашем классе эту должность долгое время занимали двое, однако исключение только подтверждало правило, так как речь шла о близнецах, братьях Ф. Близнецы представляли собою как бы единую личность, ходящую в двух телах. Таким образом, они были одним недотепой, повторенным дважды. Такое положение приводило к любопытному соперничеству, настраивая их друг против друга. Частенько после долгого семейного перешептывания в углу они неожиданно начинали драться – разумеется, как недотепы, то есть молотя вслепую кулаками, вырывая волосы и слезливо визжа. Когда братья болели, обязанности недотепы рег просига^[23] исполнял толстый З. Он был страшно обидчив, у него были как бы специально созданные для щипков щеки, а будучи одновременно толстым и недоверчивым, он чудесно подходил для «тисканья». Процедура заключалась в том, что к ничему не подозревающей жертве с двух сторон скамейки (скамейка абсолютно необходима для тисканья) подсаживались два лоботряса и, упираясь ногами в пол, а руками в столы, по сигналу до тех пор стискивали между собой несчастного, пока у того не начинали хрустеть ребра, а глаза не вылезали на лоб. Впрочем, недотепе особенно не доставалось – заниматься им не считалось признаком хорошего тона.

Рассматривая классное общество сквозь лупу, можно заметить, что особенно беспокойно чувствовали себя ученики, которые инстинктивно догадывались, что превращаются в кандидатов в недотепы и, вероятнее всего, будут низведены на эту должность, как только «штатное место» освободится. Именно они занимались патентованными недотепами, вклеивая им множество тычков и колкостей, чтобы как можно явственнее отмежеваться от них. Таким образом, они пытались противостоять собственной потенциальной недотепистости, весьма, впрочем, наивно, поскольку благородные представители класса отнюдь не заботились о его парнях.

Недотепой становились по всеобщему решению, шутом же лишь благодаря собственным активным заслугам, когда врожденный талант соединялся с соответствующим тщеславием. Шут – это тот, кто ухитрялся позабавить класс одним удачно брошенным словом, слепить меткую поговорку и прежде всего прикидываться дурачком во время опроса. Положение было трудным, так как приходилось балансировать между классом и противоположным лагерем; нельзя было стать шутом и тех и других. Так что подобная эквилибристика требовала большого искусства.

Некоторое время чем-то вроде шута в нашем классе был Мечик П., отличавшийся тяжеловесной шуткой и еще более тяжелой рукой. Когда его вызывали, он обычно начинал разыгрывать из себя идиота, стараясь делать это так, чтобы было ясно, что он издевается над преподавателем. Особенно беспощадным он был к молодым женщинам, исполнявшим обязанности ассистенток при учителях и иногда проводившим занятия самостоятельно. Мечик был вульгарным, и я его не любил; он сидел на последней парте, частенько притворялся глуховатым, так что приходилось повторять вопросы, а врал он артистически: с бесстыдной невинностью глядя в глаза, он с поразительными подробностями излагал совершенно

неправдоподобные события, которые якобы не позволили ему приготовить уроки. Чем явственнее была лживость оправданий, тем с большими подробностями он их преподносил. Класс смеялся, но не над ним лично – подобные попытки Мечик пресекал ссылкой на свою компанию. В нее входило еще несколько «деятелей» – двоечников, представлявших собою, с точки зрения педагогики, безнадежные случаи. Он был их porte-parole,^[24] даже интеллектуалистом, хотя и не верховодом. Шуток они не любили и к близким контактам с нами не стремились. В них чувствовались гости из иного, внегимназического мира, совсем из другой сферы. По сравнению с ними мы были хлюпиками – какой-нибудь В., например, позволял нам душить себя и сопротивлялся лишь одним напряжением твердых, как доска, мускулов шеи. В средних классах гимназии мы начинали интересоваться вопросами «любви и дружбы». Для них это была обыденщина, рутина, почти профессия – с отчаяния мы не упустили случая выкрикнуть что-нибудь поскабрезнее, чувствуя, однако, как у нас из-под ног уходит почва вожделенной мужественности. Интересно, что мне запомнились в основном не их лица, а руки и портфели – руки взрослых мужчин, тяжелые и малоподвижные, пожелтевшие от никотина, со вспухшими жилами на оборотной стороне ладони, покрытые шрамами отнюдь не от игры перочинным ножиком; у этих шрамов не было ничего общего с игрой, а портфели из потемневшей, грязной кожи, полуразвалившиеся, давно лишившиеся ручек и металлических уголков, со впалыми боками, потому что в них никогда не было ничего, кроме завтрака, давали понять, что в течение многих лет их приучали к суровой жизни – бывали они и воротами импровизированного во время пропуска уроков матча, и подушками под головы в Кайзервальде, и даже снарядами; такой портфель-ветеран, мне думается, следовало бы поместить под музейное стекло рядом с партией.

Были у меня и довольно близкие товарищи, но, пожалуй, не было ни одного друга, которому бы я мог поверять свои тайны. Я любил Юзека Ф., у которого усы начали расти, почитай, чуть ли не в первом классе гимназии нового типа; это был отличный математик; его убили немцы. Нравился мне еще Зигмунд Е. по прозвищу Пуньча. Интересно, что я помню его не по парте или классу, а по спортплощадке. Сын бедных родителей, он пробивал себе дорогу к знанию с помощью репетиторства. Учение стоило дорого – полугодовая плата составляла 110 злотых, то есть стоимость костюма или пяти пар ботинок, а получить освобождение от платы было нелегко. Итак, драматические минуты, когда пробивали штрафной в ворота противника... Героем был Пуньча – я его вижу словно живого; сначала он клал мяч на подходящее место штрафной площадки в одиннадцати метрах от ворот – в которых нервно облизывал губы вратарь, ссутулившийся, широко открывший глаза, – потом отступал для разбега и в молчаливом, томительном раздумье оставался один на один с противником, его расслабленное тело слегка напрягалось, и он направлялся к мячу сначала медленно, по-утиному переваливаясь; у него были немного кривые ноги, к тому же он еще специально ими загребал, чтобы вратарь не догадался, с которой ноги Пуньча ударит. Правда, все знали, что он всегда бьет с левой, тем не менее эту игру мнимой неуверенности он повторял всегда и, что самое странное, с отличными результатами. На последних метрах он набирал скорость, так что только ноги мелькали, раздавался тупой звук удара – и мяч под восхищенный гул зрителей шел точно в девятку. Пуньча медленно оборачивался, и все видели его вежливо улыбающееся, невинное лицо – то, с парты, из класса, немного как бы сладковато-мягкое и совсем будничное. У меня были два долголетних соседа по парте. Один, Юлек Х., сын полицейского, довольно крупный парень, блондин со вздернутым носом и выражением неуверенности в глазах; мы с ним провели солидную деловую операцию, которая долго тянулась, прежде чем пришла к финишу: за надоевший мне пугач-браунинг девятого калибра он дал однозарядный шестимиллиметровый пистолетик. Разумеется, я воспылил желанием немедленно испытать оружие, а так как каждая

минута была дорога, вернувшись домой, тут же зарядил пистолет так называемым «горошком». «Горошек» никак не хотел уместиться в заряднике, но в конце концов я его туда затолкал. Я раскрыл окно в комнате рядом с кухней, нацелился вдоль галереи в оконце клозета, находящегося в ее конце, и бабахнул. Грохот был неожиданно сильный, я бы даже сказал, чудовищный. Прежде чем я успел побежать на галерею, чтобы проверить, что стало с пулей, в комнату влетела мать, а следом за ней отец в белом халате и с ларингологическим зеркалом на лбу – выстрел застал его во время приема. Еще дымящийся пистолет был немедленно конфискован и в качестве весьма опасного оружия отправлен в запертый на четыре замка ящик. Значительно позже я убедился, осмотрев пистолет, что мне действительно крепко повезло, потому что зарядная камера была высверлена в слишком тонком металле, а выступающую часть гильзы раздуло пороховыми газами; к счастью, вязкая медь выдержала и все это вместе взятое не полетело мне в глаза. Пулю я искал долго и безуспешно, ствол не был нарезан. Кажется, Юлек выгадал больше. Не знаю уж почему, но об оружии мы говорили много; Юлек однажды даже участвовал в охоте, помнится, на кабанов, и один из товарищей, целившийся на высоту прятавшегося в кустах зверя, по ошибке подстрелил его в бедро. Юлек долго ходил в бинтах, вызывая всеобщую зависть. Впрочем, это было уже позже, в лицее. В то время прекрасный многозарядный «фловвер-репетир» был и у Юлека Д., а я так и не пошел дальше воздушного пистолета; я переживал это весьма болезненно. Если б это зависело от меня, я, вероятно, ходил бы в гимназию с головы до ног увешанный револьверами; а так самое большее, что я мог делать, – это похвалиться различными охотничьими достижениями, впрочем, без особого энтузиазма, потому что чувствовал: в этой области фикция слишком явно уступает действительности.

Еще раньше моим соседом по парте был Юрек Г., красивый и влюбчивый; у него всегда было множество запутанных историй с девочками...

Я не мог уйти из дому пополудни, потому что мне был придан ангел-хранитель, попросту говоря, репетитор, пан Вильк, вначале студент, а затем магистр права; он наблюдал за мной, то есть присматривал за тем, чтобы я добросовестно выполнял домашние задания. Таким образом, классическая отговорка, что я-де иду к товарищу готовить уроки, для меня не существовала: мне действительно приходилось заниматься. Вдобавок ко всему я еще изучал дома французский с некоей Мадемуазелью – особой, достаточно неприятной, обладавшей огромным пористым, словно его рассматривали под увеличительным стеклом, красным носом. Правда, мне удавалось ее умаслить, придумав целую систему уверток, спасавших от ловушек ужасной грамматики. К счастью, Мадемуазель была весьма любопытна по натуре, поэтому охотно выпытывала меня обо всем, что происходило в нашей семье: не выходит ли кто замуж, или наоборот. Я же, ничего не зная об этих матримониальных делах, плел и врал что на ум взбредет; в конце концов, несмотря на все, я научился немного «парлевать», однако тайны *temps défini*, *indefini* и всех ужасных *subjonctif*'ов остались для меня загадкой навсегда. В то время я уже производил собственные алкогольные напитки, имея в виду каких-то неожиданных гостей мужского пола, которые, впрочем, так и не появлялись, но я все равно прятал за томами энциклопедии Брокгауза и Майера грязно-белый ящичек со скляночками, заполненными остатками невыпитых вин и коктейлей собственной рецептуры. Я пользовался буфетом матери; основой коктейлей были альяс и тминная настойка, которую отец иногда употреблял перед обедом. Когда семейные сплетни иссякали, я потчевал француженку своими алкогольными изобретениями, и она была не прочь опрокинуть рюмочку – другую. В маленьких химических бюксиках я смешивал мази, упертые из комода матери, и умащал ими мою француженку. Совершенно удивительно, что после всего этого я ухитрюсь прочесть книжку на языке Мольера.

Разрываясь между занятиями в школе, паном Вильком и француженкой, я не располагал

достаточным количеством свободного времени, и жизнь моя была бы, вероятно, совершенно бессодержательной, если бы я не разнообразил ее тайными способами, о которых вскоре расскажу. Некоторым развлечением были школьные спектакли; приходилось ходить на всякую страшную «муру» вроде «Освобождения» Выспьянского^[25] (я не высказываю здесь своего мнения о драматургии Выспьянского, а говорю лишь о ее раннем восприятии четырнадцатилетками). В классе нам раздавали нумерованные билеты, и немедленно начиналась оживленная дискуссия о том, где будут сидеть женские гимназии. По каким-то тайным каналам проникали необходимые сведения, и мы приступали к торговле и обмену, потому что каждый или почти каждый хотел сидеть там, где можно было рассчитывать на роскошное соседство. Меня это не касалось; я был инфантильным телком и мог только слушать разинув рот о победах Юрека Г., о свиданиях и всем том, что на них творилось. Впрочем, выгоды соседства с женскими гимназиями на школьных спектаклях были довольно иллюзорными, поскольку стратегически размещенные представители педагогического коллектива не жалели усилий, чтобы не допустить даже самого слабого контакта гимназических душ разного пола.

Время от времени родительский комитет организовывал танцульки, но я в то время еще не умел танцевать и самое большее мог подпирать стенку – точнее, лесенку, – потому что танцевали мы в гимнастическом зале. Некоторые молодые преподаватели были не прочь пуститься в пляс с нашими гостями слабого пола, и это, правду говоря, казалось мне противоестественным. Я не мог представить себе Аттилу, увлекающегося хореографией.

Чтобы стало ясно мое положение в классе, я должен сравнить себя с другими; будучи неуклюжим и довольно толстым, я тем не менее как-то не попадал в недотепы; во всяком случае, не был недотепой патентованным, одобренным всем классом. Может, потому, что от большинства я держался в стороне, учился хорошо и голова у меня была забита множеством личных забот. Впрочем, не знаю. Кажется, на переломе гимназии и лица я столкнулся с Прустом, узнав о его существовании благодаря Иереми Р. и Янеку Х. Иереми изучал английский, таскал с собой какие-то словари и вообще был невероятно умный. Поскольку я читал все, что попадало под руку, то, увидев, как Янек и Иереми носятся с томами, имеющими недурственные названия, вроде «В тени расцветающих девиц», я немедленно взял первый том цикла и увяз на первых же страницах. Страшно этим удивленный, я, как профессиональный прыгун, несколько раз отступал, чтобы набрать скорость, и бросался на преграду, но каждый раз отлетал, словно от стены. Кто знает, не тогда ли мне в душу запали первые семена комплекса неполноценности? Пробовал я читать Пруста, но ничего из этого не получалось. Прогуливаться с девочками даже не пытался, потому что не знал, как и когда это делается. Поэтому перед товарищами, к которым я причислял и Янека Х., приходилось прикидываться, будто со всем этим у меня дело обстоит как нельзя лучше. Янеку я втайне ужасно завидовал. Он был сыном известного львовского адвоката, жил неподалеку от улицы Мицкевича, рядом с площадью Смолки, в просторной квартире, где входящего приветствовал бюст его отца – громадная, воистину римская голова на массивной шее, с неправильными чертами лица и широкими ноздрями. Мать у него была ненормальной, Янек никогда о ней не говорил; она никуда не выходила из квартиры, жила в отдельной комнате, почти всегда за замкнутой дверью – там было сине от дыма; я несколько раз мимолетно видел ее, и всегда она держала в пальцах дымящуюся сигарету. Репетитора у Янека не было, отец относился к нему как к взрослому; ему не приходилось говорить, куда он идет, что собирается делать, приготовил ли уроки. Он читал себе своего Пруста, сидя в очках с проволочной оправой, а когда приходил я, захлопывал книжку, снимал очки вместе с бумажкой, подложенной на переносицу, чтобы проволочка не оставляла следа. Он прекрасно плавал: сто метров вольным стилем за минуту и шестнадцать секунд, я же

держался на воде как колун; кроме того, он играл в волейбол, а в лицей ходил с великолепной Вандой П., причем о Ванде не считал нужным говорить. Никакими победами он не хвастался. Но больше всего мне в нем нравилось, пожалуй, то, что этот, вообще-то говоря, довольно средний ученик совершенно не интересовался школой, двойки его отнюдь не волновали, словно он имел свою систему оценок и преспокойно ею пользовался. Мы подолгу провожали друг друга, кружа между Браеровской и Мицкевича; это был добрый, отзывчивый мальчик с немного сонным, как бы флегматическим поведением и большим чувством юмора. Насколько мне известно, его тоже убили немцы.

В то время – в гимназии – я делал множество вещей уже отнюдь не ради удовольствия, а (бессознательно подражая в этом взрослым) лишь потому, что именно этим, а не чем-то иным занимались мои ровесники. Еще до лицей самые умные товарищи начали играть в бридж, который казался мне хуже неправильных латинских глаголов. Я никогда не мог запомнить, какие карты уже вышли, какие еще на руках, чем бить и с чего ходить, – меня признали абсолютно неспособным к карточной игре, и я навсегда охладел к бриджу. Что касается шахмат, то однажды я выиграл у одного молодого, но, кажется, подающего надежды шахматиста, да так, что он совершенно обалдел. Ни до этого, ни потом я так и не смог повторить этого достижения. Если не ошибаюсь, произошла одна из тех случайностей, о которых, кажется, Наполеон сказал, что на поле брани якобы наиболее опасны идеальный военный гений и абсолютный идиот, с перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть.

Некоторое время я играл в пуговицы, таская у матери из шкафа ценные экземпляры; кидал в потолок наклюнявленные папиросные гильзы – все так делали; когда слюна высыхала, гильзы во время урока начинали падать таинственным дождем к вящему возмущению учителей; под присмотром Янека Х. я занимался джиу-джитсу, обычно в тамбуре уборной второго этажа нашей гимназии, кидал в доску специальными пробковыми снарядами, в которые спереди вставлялась булавка, а сзади оперение и микроскопический балластик, научился плевать на пять, а то и шесть метров, но никогда не умел свистеть «в два пальца», что было одной из причин моего искреннего сожаления. Если в этой науке мне многое не удавалось, то, будучи часто непонятливым, я был тем не менее прилежным. Я пытался приспособиться, собирал – точнее, делал вид, что собираю, – почтовые марки, до которых мне не было никакого дела, с коллегами же, навещавшими меня, играл в войну, в солдатики, а в свои альбомы заглядывал, только оставшись один. Впрочем, мне не приходилось себя принуждать, когда, например, мы ходили гурьбой на Восточную ярмарку и до тех пор собирали бесплатные рекламные листки и упивались бесплатным бульоном Магги, пока нас, наконец, не оттащивали от прилавков их хозяева.

Даже мое пухлое тело в определенных обстоятельствах бывало полезным: я немного играл в защите в футбол, и меня трудно было оттеснить и победить в борьбе «телом», потому что у меня был солидный вес.

Изредка во Львове проходили захватывающие автомобильные гонки по замкнутому кругу, который пролегал по улицам Стрыйской, Кадетской и Пелчинской. На Пелчинской даже заливали рельсы гипсом, а края тротуаров обкладывали мешками с песком; тогда чувствовалось, что Львов невероятно европейский город: это подтверждали огромные гоночные машины, издающие адский грохот.

Стыдно признаться, но сбегать с занятий я не смел. Однако когда не было какого-нибудь урока, мы ходили в близлежащий Высокий Замок, на Кортумову гору, в Кайзервальде; окружающий район я потом еще лучше узнал зимой на лыжах, а также будучи юнаком военной подготовки; он был полон ям, оврагов, холмов, но самый лучший вид открывался с Кургана Любельской Унии.

Директором нашей гимназии был Станислав Бузат, невысокий мужчина, обладавший зычным, властным голосом, впрочем, очень хороший человек и историк; географии обучал наш долголетний классный наставник Навроцкий, прозванный Моторным за то, что в кабинете географии он утихомиривал нас звуками специального звонка с кнопкой; физике учили в разные годы Левицкий и Бляйберг. От первого мне однажды крепко досталось по лбу, и все потому, что, сидя на первой парте, во время урока, на котором он излагал свойства ртути, я в непреодолимом желании блеснуть систематически подсказывал ему, и за то, что несколько раз кряду подсказал температуру затвердевания ртути, он, выйдя из терпения, треснул меня так, что у меня искры из глаз посыпались. Я был страшно разочарован, так как рассчитывал на иное отличие.

Однофамилица, но не родственница Левицкого, пани Мария Левицка, обучала нас польскому. Я всегда был в передовых, писал саженные классные работы, почти никогда не мог их докончить за сорок пять минут урока; полонистка выписывала мне красными чернилами множество изумительных замечаний в тетради, тем более когда тема была свободной: такие я особенно любил. Увы, я слишком злоупотреблял своим положением «любимчика» и почти не учил уроков, а из обязательной литературы читал только то, что мне нравилось; всякие там Шимоновичи^[26] или Каспровичи^[27] не могли рассчитывать на мою благосклонность; поэтому в области истории литературы у меня остались пробелы, не целиком заполненные и в последующие годы. Я пользовался тем, что Левицка никогда не вызывала меня сама, и теперь являю собою печальный пример человека, сдавшего выпускные экзамены и не имеющего ни малейшего представления о грамматике, потому что и в этой области знаний я совершенно запущен, подпорченный оказанным мне доверием. Помню, однажды я совершил позорный поступок: выполняя работу – мы писали сочинения, – я связал воедино поставленное перед нами задание с собственными интересами: перенесся на планету Венеру и содрал солидный кусок из книги профессора Выробка о чудесах природы; там было помещено выряженное в увлекательный беллетристический наряд описание Венеры с ее девственными джунглями и плотными облаками. Таким образом, возвращаясь к гимназическим временам, я должен сказать, что у истоков моей литературной карьеры стоит самый банальнейший плагиат. Я пытался, помнится, кое-что добавить уже от себя, написав что-то о венерианцах (как же впоследствии мстят нам грехи молодости!), но чувствовал сам, что написанное мною по своей экспрессии и красочности далеко уступает картинам профессора Выробка.

Наша полонистка проводила уроки по современному методу, стремясь установить с классом непринужденную беседу; коль уж я признался в неблагоприятных поступках, то для уравновешивания картины хочу добавить, что не все в польском языке было мне безразлично и я мог порой высказаться не только на «венерианские» темы; кроме того, сам метод проведения уроков Левицкой действительно побуждал к некоторой самостоятельности – иное дело, что следовало проявить минимум доброй воли да и прилежания, на что не каждый был способен.

Математике учил профессор.^[28] Зарицкий, одна из наиболее одиозных фигур педагогического коллектива, украинец, дочка которого была замешана в деле покушения на министра Перацкого^[29] Это был представительный мужчина лет пятидесяти со смуглой, даже темной, морщинистой кожей, еще более темными веками, острым неправильным носом, глубоко сидящими глазами, лысый, как колено, – он старательно брил весь череп. Мы панически боялись его, я тоже, потому что математика всегда была моей ахиллесовой пятой. Наш математик – большой оригинал – обращался с нами довольно необычно. Иногда он

награждал за хороший ответ тем, что отличившемуся приказывал покинуть класс и прогуляться по городу; или же начинал урок с того, что рассылал учеников по разным адресам, чтобы те сделали для него то или другое. Это было отличием, потому что абсолютно ненаказуемо исключало из круга опасностей, поджидающих нас около испачканной мелом доски. Будучи в хорошем настроении, Зарицкий, немного напоминая популярного киноактера Бориса Карлоффа тем, что никогда не улыбался и никакие эмоции не оживляли его маскоподобного лица, задавал какие-либо особо трудные вопросы всему классу, одаряя того, кто ответит правильно, сигаретой. Однажды благодаря неожиданно снизошедшему на меня озарению я и сам получил такую награду и торжественно отнес ее домой. Сигарету я, разумеется, не выкурил, а бережно хранил до тех пор, пока табак не выкрошился из гильзы. Зарицкий был опасен своей загадочностью; мы никогда не могли понять, шутит он или требует чего-то всерьез; когда один из новичков, услышав, что за хороший ответ должен пойти в город, не послушался и вернулся на место, Зарицкий рывкнул на парня так грозно, что того моментально вынесло из класса. Каким этот человек был в действительности, я не имею ни малейшего понятия. Да и вообще, что мы знали о наших воспитателях? К примеру, математике, правда, очень недолго, нас учил профессор Ингарден, уже в то время философ с европейским именем, о чем, вероятно, никто из нас даже не догадывался. Впрочем, Ингарден задержался у нас совсем недолго, что и не удивительно, так как своим коллективным сопротивлением математике мы подвергали испытанию даже наиболее мощные педагогические таланты.

Сдается, плеяда больших чудачков учителей понемногу вымирает, быть может, их появлению способствуют условия. Навроцкого-Моторного некоторое время замещал пришелец из другой гимназии, Бабин. Этот за один урок изничтожил весь класс при помощи соответствующим образом поставленного элементарного вопроса. Он спросил, сколько существует континентов, а всем, кто отвечал, что существуют пять частей света, вlepлял кол за колом. Как выяснилось, следовало говорить «частей Земли», поскольку «свет» – это весь космос. Никакой дискуссии, разумеется, на этот счет быть не могло, и я в числе многих получил тогда неудовлетворительную оценку по географии.

Бабин был нашим кошмаром; причем его боялись все, ибо тот, кто урок выучил, находился почти в таком же лотерейном положении, что и самый последний лодырь. Я ничего о нем не знаю; он появился, как всеразрушающая комета, на несколько месяцев превратил уроки географии в сеансы ужаса и затем исчез с нашего горизонта. Я думаю, у него в голове не все было в порядке, поскольку победы, безапелляционно одерживаемые им над нами, были слишком уж иллюзорны.

Латыни в младших классах нас учил профессор Раппапорт, старый, болезненный, с желтоватым лицом, брызгливый, но довольно мягкий; он почти не покидал кафедру, так что техника нелегальной передачи необходимой для ответа информации расцвела в его эпоху буйно. Но уже тогда до нас доходили в виде сплетен и жутких историй страшные слухи о другом латинисте, Ауэрбахе, который в одном из старших классов предстал перед нами собственной персоной.

Маленького роста, забавной внешности, он приходил в огромных калошах, которые, войдя в класс, тут же яростными ударами сбрасывал с ног, а затем, чтобы лучше командовать аудиторией, забирался на кафедру, свешивал ноги и в смертельной, томительной тишине начинал обозревать класс сквозь очень толстые, лупообразные стекла очков. Спустя некоторое время, окончив сеанс гипноза, он вызывал того, кто как раз меньше всего ожидал опасности, и парализовал жертву, если та пыталась даже самым незаметным жестом призвать на помощь соседей; в этом случае он тигриным прыжком тут же оказывался около подозреваемого, внимательно осматривал его парту, книгу, руки. В отыскании грешников он проявлял поистине

детективные способности. Во время классных работ он не удовольствовался пассивной охраной форта кафедры, а тихо кружил по классу; его жуткое «А хии!» – боевой клич, звук немного носовой, – а также вся специфика произношения и выражений, которыми он прищипливал «правонарушителей», были предметом бесконечных подражаний, иронического обезьянничанья, но это ни в коей мере не снижало грозного обаяния нашего крохотного латиниста.

Если я правильно понимаю – а это не более чем мой домысел, – в самом начале своей учительской карьеры он решил, что должен по возможности решительно и зримо компенсировать физические недостатки тела, не только смешного, но и беззащитного, ибо разве не были таковыми его чрезвычайная близорукость в соединении с малым ростом. Придя к такому выводу, он разработал для себя систему засад, выпадов, прыжков, воплей, которая служила ему щитом и орудием нападения. В принципе это был умный и мягкий человек. Помню, на «малом экзамене» после четвертого класса гимназии нового типа его напугал наш одноклассник, выросший из мундира У., который, получив из рук гимназических властей свидетельство, полное «цваек», одним энергичным движением извлек из кармана флакон, прижал его к губам и опорожнил двумя глотками, распространив кругом запах йода... Все одеревенели, а из преподавателей, пожалуй, больше всех Ауэрбах, двойка которого, как он решил, должна была сыграть роль последнего гвоздя в гробу У. Немного погодя выяснилось, что выпитая У. жидкость не была смертельной, так как это была вода с примесью нескольких капель йодной настойки. У., которому уже на все было наплевать, этим красочным мазком завершил пребывание в нашей гимназии.

В языке древних римлян я не был особенно силен, но обладал солидным чувством ритма и мог без особого труда – без подготовки – читать гекзаметр, абсолютно мне неизвестный – *nota bene*, – подчасую ничего или почти ничего не понимая. Быть может, гладкость произношения, правильность расстановки ударений несколько смягчали раны, наносимые ушам наших латинистов менее красноречивыми товарищами, поэтому профессора относились ко мне более или менее благосклонно. Кроме того, я никогда не решался пользоваться какими бы то ни было шпаргалками. Ясное дело, не все мои коллеги считали, что подготовка домашних уроков их первейшая обязанность. Несомненно, именно поэтому они внесли уйму нового в сокровищницу изобретений и методов, с помощью которых в течение веков ученики пытаются бороться с педагогами; контрабанда информации, как можно, пожалуй, назвать весь комплекс подобных процедур, была отличной базой для развития различных промыслов. И прежде всего для ремесла и изнурительного рукоделия; я имею в виду те искусные приемы, с помощью которых между строками книги – например, латинской – наносился текст перевода, а также указывались предполагаемые ударения и цезуры в стихе, обозначались длинные И короткие слоги, дактиль, трохей; для этого на страницу клали листок бумаги и на нем писали карандашом, а в нужных местах текста между строчками слова и буквы выдавливались в виде бесцветных углублений. Если соответствующим образом держать книжку, то падающий под углом свет позволял, особенно молодым глазам, прочесть спасительные сведения. Кто не хотел утомлять себя такой подготовительной работой, мог воспользоваться уже промышленными изделиями, поскольку один издатель из Злочева – кажется, Цукеркандель – в массовом количестве выпускал маленькие, оправленные в желтое книжечки переводов, которыми пользовались гимназии не только Львова, но и, кажется, всей Польши. Это были сборники латинских переводов и разборов обязательных для чтения поэм, драм, отпечатанные мелким шрифтом на отвратительной бумаге. Иметь такую книжечку считалось страшным проступком, поэтому наиболее благоразумные переписывали нужные отрывки латинских переводов от руки, например, на малюсеньких полосках бумаги, которые прятали в рукава, в карманы; впрочем, не было

недостатка и в лентах, которые обычно просто выдирали нужную страницу из Цукерканделя и вкладывали ее в учебник. Некоторые рассчитывали на свой рост, благодаря которому они вместе с учебником возвышались над особой Ауэрбаха. Наивные, они плохо кончали! Несравненный следопыт каким-то чудом – возможно, по одному только дрожанию глазных яблок спрашиваемого – ухитрялся безошибочно угадать, что перед ним творится обман, а следствием был немедленный парализующий клич «А хии!», прыжок с кафедры, сухая профессорская ручка хватывала книжку, и тайное, ставшее явным, представало перед классом в виде листка, которым, словно смоченным ядом платком, Ауэрбах с омерзением, а одновременно с горьким торжеством размахивал на все стороны. А если порой листок удавалось как-то скомкать, передать соседу, маленький профессор немедленно приказывал очистить весь ряд и поочередно вытаскивал из столов все, что там было; подобные ревизии, как правило, оканчивались для виновного плачевно.

Конечно, мы пытались противодействовать, вводить новые методы – иногда можно было прочесть кусочек перевода по тексту, который под соответствующим углом держал товарищ, сидящий двумя рядами впереди, скрывая его от Ауэрбаха раскрытыми книжками, но неутомимый следопыт, мастер из мастеров с легкостью пресекал и подобные начинания. Одно время подумывали мы о том, чтобы на манер кинематографа проецировать на стену, в какой-нибудь угол, за спину профессора надписи с помощью зеркала, сигнализировать азбукой Морзе, но из этого так ничего и не получилось, потому что, несомненно, легче было в конце концов просто научиться переводу, чем сложному искусству телеграфного алфавита.

Говоря о моих профессорах, я все явственнее, все с большим недовольством ощущаю, что попадаю в колею, одну из многих выбитых поколениями более или менее добросовестных воспоминателей. О гимназии говорят, как о кукольном домике, то есть как-то свысока, издавляя, сквозь смех со слезинкой, немного карикатуризируя – что понятно – фигуры педагогов. Истертые фальшивые приемы лысеющего хроникера!

Особо коварные своей неосознанностью, они стиль превращают в сладкий бульончик младенца, подернутую глазурью кашу, которая склеивает и парализует мысль. Говорить о гимназии свысока – это хуже злодеяния, это ошибка. О гимназии следует писать, как об Абсолюте. Охраняемый стенами и мелом, он содержится в самом педагогическом коллективе – такой первый, приближенный диагноз. Это не шутка. К профессорам других школ, а с ними мы встречались, например, в театре, мы относились, как правоверные к иноверцам, их алтарям и обрядам – никаких сомнений, просто какое-то конфузливое удивление: что же в них нашли их ученики; откуда такая слепота? Каждого чужого учительишку я мог с первого взгляда разложить на составляющие – от калош и озабоченности служаки до пенсне; он был скучным сборищем этих элементов – не более. А вот то, что у Моторного был большой живот, в расчет не шло, ибо он был *абсолютным*, он и его записная книжка, и маленький, пышущий могуществом карандаш, и медленное движение пальцев, перелистывающих всегда таинственные странички; еще секунду назад они были пустыми, как мир перед сотворением, а в следующее мгновение ударял тихий гром. Ворожейки с первого ряда пытались вычитать по микроскопическому движению карандаша нашу неотвратимую судьбу.

Мне частенько доводилось носить в учительскую тетради после классных работ. Там должен был быть какой-нибудь стол, возможно, даже стулья, но этого я не помню. Что же касается кабинета самого директора, то не может быть и речи о каком-то его описании, и это неведение невозможно объяснить одними только обстоятельствами, которые меня туда приводили – ну, например, когда я вместе с Л. разбил классный умывальник. Я так напираю на это обстоятельство потому, что ослеплял меня не страх, а Абсолют. Он там присутствовал

наверняка. Я это чувствовал. Я искал его даже спустя много лет, когда в качестве литератора, которому предстояло встретиться с учениками, сидел в директорских кабинетах школ, потягивая черный кофе и ожидая своего часа. Но я так и не нашел его, этот Абсолют, он испарился, оставив холодные письменные столы, кресла, изречения и соответствующие портреты на стенах, исчез, но исчез лишь для меня. Присутствие его я неожиданно угадывал в выражениях лиц учеников, переступавших порог директорского кабинета. Они сразу же впадали в легкий, столь хорошо знакомый мне транс; я с первого взгляда узнавал это слабое одеревенение, окостенение, сухой холодок, блеск опасной эйфории в глазах, атрофию всех сразу чувств; они говорили совсем не дело и даже усердно шаркали по полу ногами, но и я тоже так поступал. Боялись? Может, и я, двенадцатилетний, боялся? Какое упрощение! Во время сентябрьского обстрела Львова немцами я бегал по Иезуитскому саду, разыскивая еще горячие шрапнелины, и ужасно трусил, потому что канонада продолжалась, и дело здесь не только в том, что я был глуп, но и в том, что опасность была до смешного очевидна: снаряд мог убить. Директор же не только не убивал, но порой даже не повышал голоса. Вероятно, можно попытаться представить дело в виде квадратуры круга, ибо до тех пор, пока существует вера, ее приверженцы и не хотят и не могут о ней говорить, ее принимают без доказательств, так же, как, например, наличие уха или ноги; атеист же маскирует мистику давних воспоминаний пытливым критиканством либо снисходительным превосходством пробудившегося ото сна перед только что пережитой во сне драмой. А впрочем, пожалуйста, анализируйте, улыбайтесь сквозь слезы умиления, плетите радужную нить воспоминаний, а я останусь при своем. Мистика? Да, но особого рода, всеприсутствующий и одновременно тотально материализованный абсолют; гимназические племена не суеверны, не верят в телепатию или психокинез; они овладели бы и тем и другим, если бы мир это позволял. Никакой медиум так не восприимчив к чужой мысли или загробному дуновению, как были восприимчивы мы к капле знания, оказавшись один на один с Абсолютом у классной доски и раскаленной Сахарой невежества в голове. Что касается психокинеза, то нас было сорок человек, объединенных духом, и прежде чем удалось бы прочесть эту фразу, кафедру, профессора и классный журнал поглотило бы чрево нижних этажей, если бы только напряженная до предела мысль могла поколебать основы материи. В последних фразах стиль у меня изменился, принял какой-то библейский оттенок, ибо, пожалуй, только так можно говорить об этих делах. А может, в стиле Гомера? Ведь древние греки подсмеивались над своими богами, знали их маленькие грешки и слабости. Впрочем, и ветхозаветные евреи, стоило господе отвернуться, уже перешептывались по углам, прогуливались с тельцами, теряли веру в кафедру, то бишь, я хотел сказать, в спасительное пришествие, – я думаю, их души были сродни гимназическим. Исайя или Иезекииль,^[30] ухитрились бы изложить даже лекцию по алгебре нумерованными виршами, каждая строчка которых была бы подобна молнии, пронизывающей до мозга костей; я на это не покушаюсь. Все, на что я способен, – это разбавленная риторикой шутка, гротеск, а ведь spiritus, который flat ubi vult^[31] пронизывал тогда высоким напряжением мел, который онемевшие пальцы судорожно сжимали в ожидании Слова. Или я преувеличиваю? А ведь я отнюдь не считал нашего математика божеством или директора – Зевсом; тем не менее многим из моих товарищей до сих пор – столько лет и войн спустя – снится выпускной экзамен, ничуть не уступающий Последнему Суду, хотя ни один Гойя не выразил его эсхатологии; ^[32] кистью. Неужели все эти свидетельства яви и упорных снов мы должны выразить словами «робость», «страх», «авторитет»? Я знаю одно: нас понуждали получать знания, мы же отшатывались от них как от заразы, а обстоятельства приводили к тому, что одновременно мы впадали в экстремальные состояния, из наших настроенных в унисон мозгов извлекали самые высокие и

самые низкие обертоны, какими только может завибрировать человек. Была, конечно, ветхозаветная робость перед геенной огненной, страх перед серным дождем двоек, доводилось нам пререкаться с профессорами на уроках, как это делал на горе Синай Моисей, неожиданно призванный к ответу Иеговой, но эти переживания, переступая известные до сих пор границы, ставили нас один на один с Непроизносимым, этим божественным первоначалом, с призрачным экстазом, который он тщетно пытается призвать, взывая к Абсолюту. Религии, которые мы исповедуем в ходе жизни, со временем сходят на нет, их храмы приходят в запустение, но сброшенные с пьедесталов предметы вчерашнего культа нельзя презирать или относиться к ним со снисходительной иронией. Скажу больше – в то время я этого не знал, но не будь нас, профессора были бы ничем; из человеческого конгломерата учеников и учителей, оправленного в рамку классных губок, черных каталогов и испаханых парт, постепенно рождается то, что освящало и возвеличивало в наших глазах их очки, цепочки от часов, боты и карандашники; а когда все это развеялось и исчезло за стенами гимназии, словно за преодоленной магической чертой, осталось смутное ощущение – не выраженный словами избыток, который наши воспоминания тщетно пытаются пробудить к жизни, – что, кроме часов учебы и сумасшествия перемен, я познал некое состояние, сложившееся из отдельных, не всегда ясно различимых элементов, состояние, может быть, в масштабе времени и превратившееся в пустяк, несколько неуклюжее, до беззащитности смешное, – ощущение первого посвящения в трагифарс бытия, поскольку я пережил восход, кульминацию и закат Могуществ, которые со временем оказались, как в каждой великой или малой истории, самыми обыкновенными людьми. Молния, которую Зевс держал в учебнике древней истории, напоминала мне гуральский оципок^[33] я видел ее без всяких иллюзий, как сегодня: аккуратно отточенный карандашник в руках у Моторного. Для человека практического Олимп – просто гора, ему там нужны вибрамы,^[34] а не жертвенные животные; ничего, кроме стульев и столов, уже нет для меня в кабинетах гимназических директоров; я говорю это без сожаления, но и без улыбки, без сентиментальности, но и без снисходительности, ибо таков порядок вещей.

Окончив эту песнь, я возвращаюсь ко Львову тридцатых годов, к его тенистым пассажам, холмистым улицам, зеленой, как бы лесистой, Академической, улице Легионов, оканчивающейся Большим театром, и Мариацкой площадью посередине, особо шикарной по ночам, когда с крыш мчались светящиеся олени мыла Шихта, а по неоновым лесенкам прыгали шоколадки Су-шара, Милька, Бельма и Биттера.

Примерно в 35-м году к нам пришло звуковое кино, с Аль Джольсоном и его песенкой «Санни Бой», которую тут же подхватили дворовые певцы. Следует сказать, что в то время по дворам бродили бесчисленные фокусники, огнеглотатели, акробаты, певцы и музыканты, а также самые что ни на есть настоящие шарманщики; у некоторых были попугаи, вытаскивающие билетки с судьбой. Не знаю, действуют ли это скрытые в душе угрызения совести за мою позорно уничтоженную шарманку, но визгливую, нескладную, полуфальшивящую музыку всяческих музыкальных ящиков и других не менее анахроничных инструментов я глубоко уважаю. Есть в ней сладостно-наивная серьезность, вера девятнадцатого века в совершенство колесиков и зубчатых валиков, механическая учтивость материи, подающей собственный голос, а не просто подражающей человеческому. Но гераклитова река поглотила все эти бренчащие сундуки. Был я также большим любителем циркового искусства на кухонных ступенях; иногда свои представления давали целые семьи, бродящие со свернутым в рулон ковриком, на котором проделывались шедевры акробатики, и потрепанным фибровым чемоданчиком, в котором хранились факелы, гири, шпаги для глотания и другие не менее достопримечательные предметы. Пока глава семейства заглатывал шпагу или огонь, мамаша подыгрывала на гармонике, а дети строили зыбкие пирамиды и бегали по двору,

собирая медяки, завернутые в бумажки, если их бросали из окна. Это было время немалой нужды, выгонявшей на улицу не только искусство, но и торговцев гребешками и зеркальцами, частенько слышался густой звон бродячих точильщиков и крик: «Та-а-а-зы паять!»; кругом сновала масса цыганок-гадалок или совсем уж обычных попрошаек, которые в качестве единственного товара могли предложить лишь собственное несчастье. Все эти люди в то время составляли в моих глазах естественное дополнение городского пейзажа, словно иначе и быть не могло.

Из фильмов звуковой эпохи я сравнительно неплохо помню фильмы о чудовищах; о короле Конге, обезьяне высотой в четырехэтажный дом, которая, влюбившись в некую даму, вытащила ее через окно небоскреба и, держа в горсти, словно банан, снимала с нее одежды; о Мумии, Черной комнате, Вурдалаке; в «Мумии», когда она воскресала, Борис Карлофф, игравший заглавную роль, клал руку на плечо юному египтологу; ужасна была эта появляющаяся из могилы пятерня, в которую специалисты превратили руку актера, Карлофф вообще был непревзойденным в ролях истлевших покойников («Франкенштейн», «Сын Франкенштейна»). Темы ходили как-то семьями, потому что сразу после этого я видел «Сына короля Конга»; будучи обезьяной порядочной, он благосклонно относился к людям, оказавшимся на вулканическом острове, а когда остров погрузился в океан, он сгреб героев в кулак и до тех пор держал их над водой, пока их не вытащили на корабль, сам же, побулькав, сколько положено, пошел после столь благородного поступка ко дну.

У меня была ужасная привычка подталкивать отца локтем в бок во время наиболее сильных сцен в кино, а на некоторых фильмах отцу доставалось особенно. Сдержаться я не мог – это было сильнее меня. Чем страшнее был фильм, тем сильнее он притягивал меня; почему мы, собственно, любим, когда нас (лишь бы в меру) пугают, неизвестно, так что и от меня тоже трудно ждать объяснений.

Как каждый львовский ребенок, я, разумеется, время от времени ходил на Рацлавицкую панораму. Это было огромное удовольствие. Уже сам вход настраивал торжественно и необычно, поскольку вначале надо было пройти сквозь зону полумрака, а потом по лесенке подняться на помост, который у меня безоговорочно ассоциировался с гондолой очень большого, неподвижно висящего воздушного шара. С этого помоста панорама битвы казалась совершенно живой; причем множество споров вызывала проблема, в каком месте настоящий забор с насаженными на жерди горшками переходит в рисованный. В то время я не имел ничего против натуралистической школы в живописи. Наоборот, в театр я любил приходить очень рано, когда еще не был поднят огромный железный занавес работы Семирадского, на котором была намалевана масса забавных вещей. Вообще наш Большой театр со своей красной бархатной обивкой, множеством ярусов, канделябров, огней на них, залом-курилкой и last not least.^[35] буфетом, в котором отец покупал нам, то есть маме и мне, бутерброды с тонко нарезанной ветчиной, казался мне местом прямо-таки баснословно роскошным, comme il faut.^[36] Не помню, какие великие драматургические произведения я видел в театре, зато отлично помню, что такой бутерброд стоил целых пятьдесят грошей.

Цивилизовался я все быстрее, по мере собственных возможностей, и, однако, где-то в глубине души, втайне, был, видимо, на стороне всех тех сил, с которыми цивилизация борется как умеет. Об этом свидетельствует моя реакция на суровые зимы или другие, более скоротечные катастрофы. Климат Львова был скорее континентальный, что-либо подобное январской слякоти было там просто невозможно. В 1930, кажется, году при чистом, как голубой ледник, небе температура упала до минус 36 градусов; цены на топливо дико подскочили, за каждой повозкой, развозящей уголь, бежали согнувшиеся фигурки ребят, подхватывающих каждый упавший кусок; а когда мы с отцом вышли на небольшую прогулку – я, до

невозможности закутанный в разные зимние войлоки и наушники, – то по пути встретили несколько больших железных решеток, в которых горел городской уголь. Над каждой из них грелось несколько замерзших бедолаг; я, конечно, понимаю, это возмутительно, но все это вместе взятое казалось мне прекрасным, а еще больше надежд на какие-то катастрофические и непонятным образом радикальные перемены я возлагал на поваливший вслед за этим густой снег. Как же я мечтал о том, что снег засыплет весь наш дом, что останутся трамваи и автомобили, что с балкона третьего этажа можно будет выйти прямо на улицу, превратившуюся в ледяное ущелье! А когда, впрочем, очень редко, выключали электричество, я с восторгом помогал искать свечи, обносил их зыбкое и неверное пламя по неожиданно потемневшей, таинственно расширившейся квартире и искренне сожалел, когда тривиальные лампочки, вновь вспыхнув, разрушали эту сладостную феерию средневекового мрака.

Так же, как и через детские болезни, я прошел и через различные более или менее банальные мании века и эпохи. Вначале, ясное дело, я собирал «англассы», то есть копии государственных флагов на шоколадках этого названия. Потом – миниатюрные фотографии далеких городов, изображенных (опять же) на шоколадках Сушара, так что в конце концов насобирал их столько, что получил за это от фирмы стереоскоп для их рассматривания. Марки я собирал только для вида. Я как-то не любил бескорыстное собирательство. Вначале отец уговаривал меня откладывать грош к грошу и с этой целью купил мне глиняную свинку – одну я разбил, другую выпотрошил с помощью ножа. Тогда он торжественно принес домой копилку сберегательной кассы, в нее можно было засовывать монеты, но уже нельзя было их оттуда вынуть – это могла сделать лишь сама касса, разумеется, только теоретически, потому что, изучив механизм, я убедился, что если очень упорно и очень долго трясти перевернутую вверх дном копилку, то в конце концов ее можно заставить выплюнуть одну-две злотовки, что в конечном итоге приводило к ее полному опустошению. Тогда отец махнул рукой на систему сбережений, к которой он так настойчиво пытался меня приучить. А ведь деньги были нужны мне не для шуток. Никто не раздавал даром ни проводов для индикаторов, ни станиоля для конденсаторов, ни лейденских банок, ни клея или резинки для рогаток. Из других предметов первой необходимости халва, которой я потреблял много, тоже была недешева. Кроме того – картинки для вырезания. Удивительные вещи в то время вырезали и клеили; не считая обычных танков и самолетов, можно было склеить противогазы, которые можно было даже носить до тех пор, пока от слюны и дыхания через дырчатое доньшко бумажного поглотителя они буквально не расклеивались. А воздушные шарики? Не знаю, почему сейчас уже нет настоящих, живых – раньше я их получал, как и маленькие ветрячки из цветной бумаги, прищипленные к лучинкам, всегда воткнутым, словно в рукоять, в большую сырую картофелину, которую держал в руке один продавец перед университетом, (Сам университет в то время назывался Сеймом, я не знал, что это название осталось еще от австрийской эпохи, когда там размещался галицийский сейм.) Кроме ветрячков, продавец торговал воздушными шариками на ниточках из пеньки, цветными и заполненными газом. Для меня в них было что-то необычное, притягательное и одновременно печальное. Нельзя было отпускать шарик, потому что он улетал в небо, – я помню отчаяние детей, с которыми подобное приключалось в Иезуитском саду! Но и в квартире шарик тоже был не особенно счастлив, иначе зачем бы ему было сразу же уплывать под потолок и оставаться там, глупо, упорно и как бы отчаянно тычась в него своей надутой головой; но хуже всего было следующее утро, когда я заставал шарик умирающим. Сморщенный, постаревший за одну ночь, не имея уже сил даже на то, чтобы подпрыгнуть под потолок, он едва приподнимался над полом, меланхолично таская за собой нитку. Я вспоминаю об этом сейчас потому, что удивительная нежность к шарикам осталась у меня на долгие годы, – я покупал их и скрывал

это, чтобы меня не высмеяли. Я якобы приделывал им гондолы, делал из них какие-то цеппелины, но это был самообман. Мне было необходимо их кратковременное присутствие, их однодневное существование, словно какое-то *memento mori*, [\[37\]](#) некая модель, делающая очевидной преходящесть любой святыни. Иногда появлялись шарики на медных проволочках, надутые воздухом, но эти мертвые, эти неживые с самого рождения подделки меня не интересовали, я брезгал ими, поскольку они притворялись тем, чем не были. Боявшиеся риска настоящей жизни, они годились только для глупцов. Я не хотел иметь с ними ничего общего.

Однако было нечто, что я коллекционировал бескорыстно, долго, упорно: электрически-механический хлам. У меня до сих пор остался своеобразный сантимент ко всяким испорченным звонкам, будильникам, старым катушкам, телефонным микрофонам и вообще предметам, которые, будучи выбитыми из колеи своего существования, использованные, заброшенные, ютятся где-то; местом их последнего прибежища, обителью, в которой им последний раз давалась какая-то, пусть мизерная возможность сравнительно сносного существования, была свалка за театром. Я ходил туда не раз, немного, пожалуй, напоминая доброддея, навещающего юдоль нужды, или любителя животных, украдкой подкармливающего самых истощенных собак и кошек. Я был филантропом по отношению к старым разрядникам, покупал испорченные магнето от автомобилей, какие-то гайки, никому ни на что не нужные коммутаторы, части непонятных приборов, сносил все это в дом, прятал в коробки от ботинок в шкафу, засовывал куда попало, даже за книжки на верхней полке (у меня уже была собственная библиотека), иногда вынимал их, стирал пыль, разумеется, пальцами, подкручивал какой-нибудь рычажок, чтобы сделать им приятное, и опять заботливо прятал. Не знаю, почему я это делал. Конечно, если бы меня спросили, я немедленно ответил бы, что кое-что всегда может пригодиться при реализации каких-то там планов, но это не была ни вся, ни абсолютная истина.

За Восточной ярмаркой раскинулось одно из притягательнейших для меня мест мира – Веселый городок. Были там карусели, Американские горы, Дворец духов, Колесо смеха и даже еще более интересные вещи. Например, кожаный идол, падающий после того, как его ударяли в скулу, а силомер тут же показывал в соответствующих величинах силу удара. Или блошинный цирк, в котором блохи волей-неволей таскали миниатюрные повозки и кареты. Или таинственные киоски и кабинеты; в одном, когда я вошел туда с отцом, раздевалась необычайно толстая женщина, не в целях стриптиза, а чтобы показать нам богатство украшающей ее феноменальной татуировки. Во время демонстрации интереснейших сцен на животе отец заволновался, а когда она перешла дальше, он силой вытащил меня за дверь, и я успел заметить только уголок какого-то оригинального пейзажа. В одном месте находился аттракцион, отгороженный от зрителей барьером. За барьером располагалось что-то вроде низкого и широкого стола, на котором лежали шоколадки, коробки с конфетами, солидные бонбоньерки, а задача состояла в том, чтобы бросать монеты в сторону этих предметов. Тот из них, на котором монета задерживалась, переходил в собственность счастливого игрока. Я вскоре заметил, что у самых крупных коробок шоколада были немного выпуклые крышки, оклеенные вдобавок ко всему очень скользким целлофаном, и монета всегда соскальзывала на стол. Однако зачем человеку дана сообразительность? Дома я устроил себе опытный полигон из разложенных на полу книг и пеналов и после непродолжительной тренировки научился бросать монету так, что, взлетая сначала вверх, она потом падала совершенно отвесно и намертво, без тенденции к боковому скольжению. Потом я спокойно отправился в Веселый городок. Мне удалось выиграть большую бонбоньерку, но почти тут же ко мне подошел какой-то мужчина с солидными бицепсами и просипел мне на ухо: «Сматывайся, г...к». Я выполнил просьбу, а содержимое бонбоньерки оказалось дома несъедобным: все в ней было или намертво засахаренным, или окаменевшим от старости.

Как видно из этих мелких историек, годы уходили, но определенный вид моих увлечений сопротивлялся воздействию времени. Я по-прежнему был влюблен в халву Пясецкого и Веделя (в маленьких коробочках); кроме того, я обнаружил неподалеку от Большого театра кондитерскую под названием «Югославия», в которой продавались самые шикарные во Львове восточные сладости: различные рахат-лукумы, казинаки, экзотические маковки, хлебный квас и множество других отличнейших вещей; в то время я – *pota bene* – весил на несколько килограммов больше, чем теперь.

Я говорил о Восточной ярмарке. Я любил ходить туда, когда она стояла пустой, безлюдной, – странными казались тогда огромные павильоны с грязными стеклами, а особенно нравилась мне площадка, отгороженная самым длинным полукруглым павильоном, который дугой охватывал павильон Бачевского (тот, что был выложен бутылками ликеров). Стоя под башней Бачевского, можно было разбудить эхо, спящее в пространстве; достаточно сильный хлопок в ладони повторялся четыре, пять, а то и шесть раз, так же как и любой звук. При этом протекало, казалось, невероятно много времени между этими все более слабыми возвращениями голоса, который все больше замирал, возвращался из все большей дали, со все большим трудом; я стоял там в холодные дни погожей осени, внимательно прислушиваясь к последним, умирающим отголоскам эха, в которых было что-то пронизывающее, таинственное и одновременно восхитительно жалостливое; я знал, конечно, на чем основывается механизм возвращения отраженной звуковой волны, но это никак не приуменьшало особой прелести этого места.

За три года до войны я там впервые столкнулся как-то неожиданно и совсем близко с гитлеровской Германией. На одном из павильонов появился красный флаг со свастикой, внутри было много неинтересных машин, а на специально отведенном месте красовались несколько не то игрушек, не то механических моделей танков, абсолютно точно скопированных с оригиналов, покрытых пятнистой, словно у ящериц, броней, с гусеницами, башнями и полным вооружением; на них красовались четко вырисованные точные миниатюры опознавательных знаков вермахта, которые немного позже предстали передо мной уже в натуральную величину на броневых плитах тех же самых танков «Марк-IV»; однако в то время они были не более чем игрушками, хотя я уже кое-что знал о гитлеровской Германии, и было для меня в этих, правду говоря, привлекающих глаз игрушках что-то от неясного предчувствия будущего времени, или даже провозвестника грозы, но такого, который с помощью уменьшения притворяется невинным. В этих прелестных игрушках было что-то отталкивающее, словно они не были только и просто собою, будто из них должно было что-то вылупиться, вырасти. Впрочем, справедливости ради добавлю, что я в этом не очень убежден; позднейшие события могли бросить этот как бы предураганный свет назад и немного необычно окрасить им события, абсолютно невинные.

Самое время поговорить о том, на что я лишь туманно намекнул, а именно – о тех усердных, особых и прежде всего интимных занятиях, которым я отдавался как в гимназии, так и дома. Сегодня, когда буквально почти ни на что не хватает времени, меня поражает, что я вообще мог делать так много (а сейчас я покажу, что у меня действительно была масса трудоемкой работы). Видимо, время, этот элемент нашего бытия, особо растяжимо в молодости и при надлежаще приложенном усилии может создавать в себе самом совершенно неожиданные, как бы добавочные просторы, распухая словно карманы моей школьной формы, в которых я, придерживаясь традиций, носил больше, чем допускало прозаическое измерение их вместимости. А может, и пространство тоже по природе своей более благоволит к детям? Это, пожалуй, невозможно; и, однако, кроме мотков шнура (для морских узлов, а также на всякий случай), горсти особо любимых шурупов, перочинного ножичка, стерок, именуемых «радерками» (они исчезали на глазах, словно я их заглатывал), латунной цепочки от туалетного бачка, катушек, транспорта, небольшого циркуля (нужного не столько для геометрических построений, сколько для того, чтобы колоть сидевшего передо мной толстого З.), стеклянной пробирки от пилюль, наполненной превращенными в порошок спичечными головками (яд, одновременно взрывчатое вещество), помутневшего от царапин увеличительного стекла, бумажника-подковки с вечно раздутыми боками, а также тех плодов, которыми в данном сезоне снабжала нас природа (желуди, каштаны), половины резинки от «уйди-уйди», непригодной, но тем не менее ценной, маленькой головоломки с передвигающимися квадратиками цифр, именуемой «пятнадцать», и еще одной, покрытой стеклышком, под которым катались три поросенка (это была игра на ловкость), я носил из дома в школу и из школы домой целую контору. Сам не знаю, как и когда мне в голову пришла весьма оригинальная мысль – удостоверения. Заслонившись приподнятой в левой руке обложкой раскрытой тетради и делая при этом вид, будто записываю слова профессора, я изготовлял их на уроках, изготовлял в массовом количестве, не торопясь, исключительно для себя, никому не показывая ни краешка. Период ученичества я опускаю; разговор, стало быть, пойдет о мастерстве, достигнутом во втором и третьем классах. Прежде всего я вырезал из гладкой бумаги тетрадок небольшие листки, складывал их вдвое в виде книжки и сшивал особым образом и специальным материалом. Цифры «560» на гимназической нашивке, означавшие номер гимназии, были сделаны из малюсеньких спиралек серебряной тонкой, как волос, проволоки. Они и послужили мне переплетным материалом. Располагая определенным запасом книжечек различного формата – что весьма существенно, – я приделывал им обложки из самых высококачественных материалов – бристольского картона, тисненой бумаги, а некоторые специальные бланки оправлял в картон высшей марки, вырезаемый из обложек общих тетрадей. Услышав звонок на перемену, я прятал все это в ранец, а на следующем уроке начинал методичное, аккуратное заполнение пустых страничек. Я пользовался чернилами, тушью, цветными химическими карандашами и монетами, с помощью которых в нужных местах оттискивал печати. Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определенные, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках – различные виды чековых книжек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготавливал паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы, удостоверяющие его личность, в поте лица

рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нем пучину. Я начал приносить в школу старые марки, переделывал их на штемпеля, снабжал документы печатями, складывающимися в целую иерархию, начиная от маленьких треугольных и четырехугольных и кончая самыми тайными, идеально круглыми, с символическим знаком в центре, один вид которого мог повергнуть на колени кого угодно. Войдя во вкус этой кропотливой и канительной работы, я начал выписывать разрешения на получение бриллиантов размером в человеческую голову; причем действительно зашел далеко, коль скоро снабжал удостоверения приложениями, приложения – дополнениями, проникая в сферу все более могущественной власти и даже туда, где действовали только уж секретные личные удостоверения, шифрованные, с системой паролей и символов, требующей особого кода; для некоторых документов были созданы специальные книжки, в которых раскрывалось их истинное, потрясающей силы значение; без этих книжечек указанные документы представляли собою всего лишь тетрадки нумерованных страничек, покрытых абсолютно непонятной каллиграфией. В то время я где-то прочел рассказ, который произвел на меня совершенно потрясающее впечатление. Это была история экспедиции к «белому пятну» в сердце Африки. Участники экспедиции, преодолев горы и джунгли, натолкнулись на неизвестное племя дикарей, которые знали некое страшное слово, произносимое исключительно *in extremis*,^[38] ибо каждый, кто его слышал, превращался в кучку студня примерно метровой высоты. Эти кучки были в книжке описаны столь же подробно, сколь и тот гениально простой способ, благодаря которому дикари сами не превращались в желе, – способ действительно простой, ибо, выкрикивая трансмутирующее слово, они плотно затыкали себе уши. Я запомнил ужасное слово и не сразу осмелился его произнести, памятуя о судьбе одного ученого-маловеера, который, легкомысленно подсмеиваясь над сообщением последнего уцелевшего участника экспедиции, произнес это слово... с трагическими – желеобразными – последствиями. Слово это, способное превратить человека в кисель, было «эмэлен».

Спешу пояснить, что в то время я не верил в сказки, хотя читал их охотно. Однако историю с «эмэленом» я не считал сказкой – скорее это был рассказ в духе Эдгара По (я не утверждаю, что он представлял собою какую-либо ценность, я просто говорю о моих тогдашних – тринадцатилетнего мальчишки – ощущениях). Оглядываясь назад, я думаю, что тогда я, пожалуй, впервые столкнулся с так называемой *science-fiction*. Таким образом, я не верил, по крайней мере буквально, этой истории, а если и поверил было, то очень быстро охладел, однако у меня осталось довольно неясное и мрачное ощущение, что слова, приводящие к последствиям, в какой-то степени подобным описанному, все-таки могут существовать: ведь некоторые звуки или регулярно повторяющиеся световые отблески могут погрузить человека в гипнотический транс, так почему бы какое-либо особое их сочетание не могло быть еще более эффективным, не из-за своей магичности, а в связи с тем, что поток звуковых волн, действуя на ухо... ну, и так далее.

«Эмэлен» требовалось как-то перевести в сферу удостоверенческого бытия, где я уже превратился в преуспевающего специалиста. Учился я неплохо, поэтому никто не заглядывал в мой ранец, в мои книжки, тетради – и к счастью, потому что иначе из них можно было бы вытрясти множество уже заполненных малюсеньких книжечек и еще пустых бланков, а также тех экспериментальных экземпляров, на которых я, стремясь усилить значимость документов, пытался – увы, безуспешно – оттискивать водяные знаки. Эту страсть к реалистическим мелочам так и не удалось провести в жизнь, несмотря на бесчисленные попытки.

Должен сказать, что, хотя я и создавал королевство удостоверенческого всемогущества, этот девиз как таковой в моем творчестве не проявлялся. Прислушиваясь к здравому шепоту

бюрократической трансцендентности,^[39] я не доверял понятиям бесконечности и пользовался, как правило, метрической системой СГС, то есть точно сообщал, на что может рассчитывать предъявитель в конкретных единицах меры и веса. Что же касается книжечек бланков, то каждый бланк имел порядковый номер, строго определенный номер серии, необходимые подписи и печати, придающие ему уже окончательную правомочность. Эти печати я ставил в самом конце работы, чтобы не тратить их зря на бумаги, запятнанные какой-либо, пусть даже самой незначительной, ошибкой или неточностью. Листки были, разумеется, перфорированы вдоль корешка, чтобы любой из них действительно можно было вырвать из книжки для предъявления. Эту перфорацию после ряда опытов я осуществил с помощью небольшого зубчатого колесика от будильника, которое постоянно носил в пенале в школу. В том же пенале хранилось еще вполне хорошее лезвие от отцовской бритвы, которым я аккуратно обрезал краешки страничек; причем от постоянного употребления лезвий во время переплетных работ крышка моего стола покрылась густой сеткой порезов, что каким-то чудом сходило мне с рук.

Никому из товарищей я не показывал эти неоспоримые до-роды неограниченной власти над сундуками рубинов и судьбами заморских королей. Ведь товарищам это могло показаться шуточками, а для меня было вопросом особой значимости. Я чувствовал, что они могли меня высмеять, а это было недопустимо. Вероятно, я был прав. Ныне сетуют на повсеместное снижение высоты полета искусства, затронутого проказой бессилия, обреченного неведомо кем на мелкоту преходящих экспериментов и моды-однодневки. Особенно это чувствуется, когда мы обращаемся к произведениям прошлого, сохраняющим свое могущество, к соборам Флоренции и Сиены, мистериям средневекового китайского театра, почерневшим, закопченным негритянским божкам, покидаем выставки искусства каменного века или Сикстинскую капеллу, полные тревожного вопроса: что же, собственно, такое произошло с духом, что он утратил способность к столь эруптивному^[40] и одновременно вынужденному самовыражению, содержащему в себе как бы силу естественной необходимости и требующему приятия в той же степени, в какой этого требуют деревья, облака, тела зверей и людей, – то есть безоговорочно и окончательно. Нам отвечают, что-де человек искусства перестал быть послушным орудием, проводником тех приходящих извне ураганных сил, которые он сосредоточивал в себе, но которые не создавал, утверждают, что искусству приносит смерть свобода безграничного выбора, сознание условности уговора, ибо тот, кто знает, что можно написать книгу любым способом и на любую тему, не напишет ни одной значительной книги. Тот, кто понял, что на полотне можно изобразить все, что душе угодно и как угодно, найдет в разверзшейся перед ним свободе могилу творческих возможностей.

Взгляните на фотографии космонавтов, выходящих из своего корабля на прогулку по бесконечному пространству. До чего же не приспособлено человеческое тело к бесконечности, каким беззащитным становится оно там, где каждое движение, лишенное ограничений и сопротивлений Земли, стен, потолков, обнажает свою бессмысленность! Не случайно они принимают положение плода в лоне матери, сутулясь, подгибая колени и прижимая руки, не случайно спасательный фал так напоминает пуповину, связующую плод с маткой. Энергичными, решительными, целеустремленными мы можем быть только в рабстве гравитации, в пределах ее власти наше тело обретает свой смысл и форму, проявляет себя каждым суставом и нервом, идеально приспособленное и поэтому прекрасное. Таковую же, как бы естественную, необходимость, ощущение, что мы общаемся с единственно возможным и допустимым решением проблемы, пробуждает в нас каждое крупное произведение искусства. Господь Микеланджело с мощной курчавой бородой, в складчатых одеждах, с босыми ногами, испещренными жилами, не родился из свободного воображения мастера. Художник должен был подчиниться абсолютной букве предписаний, берущих истоки в книгах «Откровения». На месте

Микеланджело современный художник, душа которого размякла от скептицизма, этого испарения знаний, на каждом шагу сталкивался бы с парадоксами, дилеммами, нонсенсами там, где мастер Возрождения не испытывал никаких сомнений. На ногах бога короткие ногти. – Если бог подобен телом человеку, ногти должны расти. Коль он существует вечно, они должны были бы разрастись и превратиться в роговые змеи, устремляющиеся с нагих пальцев ко всем галактикам одновременно, заполнить небо потоками извивающейся, перепутавшейся роговины. Это возможно? Так надо рисовать? А если сказать себе, что это не так, то возникает проблема божественного педикюра. Ногти могут быть короткими или потому, что их подрезают, или благодаря вмешательству чуда – ведь тот, кто может останавливать солнце, может приостановить и рост ногтей. Оба выхода недопустимы: первый отдает маникюрным кабинетом, второй – неприятным привкусом атеизма, и тот и другой – богохульством. Ногти должны быть короткими без всяких вопросов и анализов.

Здесь мы сталкиваемся со спасительным ограничением, делающим возможным возникновение большого искусства, которое актом веры пресекает потенциально беспредельный поток вопросов. Естественно, строгая дисциплина, навязанная литургией, должна стать внутренней потребностью, превратиться в добровольно надеваемую огненную власяницу души, стать границей, принимаемой горячим сердцем, а не охраняемой полицией. Существуют ограничения мистические и полицейские; и если эти вторые не приводят к возникновению великих произведений, то только потому, что полицейский контролирует других, он не является вдохновенным служителем собственного искусства, обожествляющим служебные инструкции. Посему запрет должен идти свыше, грань должна быть обозначена и принята пылким и не вопрошающим ни о каких полномочиях или обоснованиях сердцем бесспорной, как бесспорны листья, звезды, песок под ногами или форма человеческого тела, Поэтому вера должна воплотиться в совершенно негибкую, абсолютную реальность. И лишь так связанный, покорный, но старательный, послушный дух, располагая столь ограниченным свободным пространством для изобретательности, в узкой полосе свободы создает великие произведения. Это относится ко всем разновидностям искусства, которым свойственна смертельная серьезность, сводящим на нет дистанцию, иронию, насмешку – разве можно смеяться над гравием, крыльями птиц, заходами луны и солнца? Так, например, танец представляет собою лишь кажущуюся свободу – танцор только разыгрывает ее, по сути дела полностью подчиняясь диктату партитуры, которая регулирует каждое заранее обдуманное им движение, индивидуальное же самовыражение возникает в щелках интерпретационных возможностей. Конечно, столь высокие ограничения можно найти и за пределами религии, но тогда им придется придать сакральный ^[41] характер, поверить в то, что они неизбежны, а не надуманны. Сознание того, что можно сделать совсем иначе, отвержение неодолимой необходимости в пользу океана осознанных техник, стилей, приемов, методов, сковывает мысль и руки свободой выбора. Художник, как космонавт в безгравитационном пространстве, беспомощно извивается, не ощущая избавительного сопротивления среды, спасительных границ.

Как же близко в ранней, бюрократической фазе моего творчества я подошел к тем сакральным родникам, из которых бьет искусство! За исходный пункт – более того, за непоколебимую основу – я принял Удостоверение, так же как Микеланджело принимал Рай, Престол и Серафимов. Чудовищно ошибся тот, кто решил бы, что в тот период я свободно фантазировал. Я был добровольным невольником канцелярской литургии, чиновником Генезиса, из толстощекого школяра превратился в переписчика декалога, ^[42] принявшего обличье современного кодекса поведения, в бюрократа, регламентирующего в административном вдохновении Служебную Милость. Сегодня, в печальной фазе сознательного

творчества, я, вероятно, сразу бы довел и суть и тему до абсурда, придумывая разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выдавая свидетельства зрелости. Но тогда, как Микеланджело о ногтях, я не спрашивал о том, почему соответствующие учреждения присвоили себе право выдавать новорожденным свидетельства, удостоверяющие их личность. В том безгрешном состоянии, в котором мне это даже в голову не приходило, я помимо воли приравнивал Удостоверение к Абсолюту и тем самым оказался на пороге искусства. Оберегая буквы и печати, соблюдая порядок нумерации бланков и полномочий, аккуратность подписей, придающих документам исполнительную власть, я действовал в полном согласии с канцелярской прямолинейностью, которой абсолютно чужды всяческие сомнения и колебания, так же как и понятия, не имеющие конкретного значения.

Первые мои шаги были мелкими, робкими, но шли в нужном направлении. Я никогда не превышал своих полномочий, может быть, именно потому, что не знал, кто есть кто и чьей рукою являюсь я сам. Поэтому вначале я не заполнял на чье-либо имя уже готовые бумаги – удостоверения личностей королей и канцлеров. Это не входило в мои обязанности, я оставлял пустые места для фотографий, имен и подписей будущих владельцев. Документы же, выписываемые на предъявителя, я держал в специальном, застегивающемся на две пуговицы отделении ранца, чтобы они не попали в посторонние руки. В финансовых вопросах я был особо осмотрительным, стремясь уже в зародыше пресечь самую возможность злоупотреблений или мошенничества. Я уточнял суммы, количество, платежную силу монетарных средств; от некоего отвлеченного «золота вообще» перешел к кирпичикам, плиткам, слиткам (ассигнации представляли собою нечто вроде описания слитка золота, который я принял за эталон, используя знания, полученные на уроках физики). Образцом мне служил платино-иридиевый эталон метра, хранящийся в Севре под Парижем и в сечении напоминающий букву «X». Я определял даже размеры нуггетов – золотых самородков, сведения о которых почерпнул из романов Мая и Лондона,^[43] – используемых для расплаты и хранимых в кожаных мешках, перевязанных лассо, разрубленным на куски. Получив же, благодаря «Чудесам природы» профессора Выробка, необходимые сведения, я выписывал разрешения на выдачу рубинов, халцедонов, шпинелей, хризопразов, опалов, агатов, бриллиантов, оговаривая на контрольных талонах блеск, форму шлифа, количество штук; изготовлял я также купоны на специальные награды в виде золотых – из стопроцентного золота – цепочек, при этом я сталкивался и с довольно сложными проблемами. Так, например, удобно ли в официальном порядке награждать, скажем, платиновым сервизом? Спросив об этом свою чиновничью совесть, я решил, что так делать не полагается; счастливый инстинкт подсказал мне, что вообще такие слова, как «дар», «одарить», в прагматике^[44] не могут иметь места; иное дело «выдать», «выплатить», «выделить». Золотую цепь с горем пополам можно носить на шее, а кто станет есть с платинового сервиза? Вещь совершенно неподобающая в сфере чистого канцелярского мышления. О, мной руководствовала не какая-нибудь там алчность, когда я рассыпал дожди (но пересчитанные до капли) жемчугов, щедрые лавины изумрудов, нет – просто финансовые проблемы представляли собою один из неизбежных элементов создаваемого мною бытия. Изготовлял я и особые пропуска, тоже складывающиеся в прагматическую иерархию и дающие право прохода через Внешние ворота, Средние, а затем через Первые двери, Вторые, Третьи, опять же со специальными купончиками, отрываемыми стражей. Следующие же, все более внутренние проходы, тщательно охраняемые пассажи, вначале открыто называемые обыденным канцелярским языком, а потом известные только под шифрованными намеками, постепенно, но неизбежно приоткрывали проступающий из небытия контур, Дом домов, Замок невообразимо Высокий, с никогда не произнесенной, даже в приступе наивысшей смелости, не названной Тайной Центра, которой можно было бы, пройдя сквозь все двери, пороги и посты, предъявить

свое удостоверение.

Легко об этом говорить сегодня, но как же далеко от этого Центра я находился тогда, создавая с муравьиным трудолюбием и кропотливостью минускулы,^[45] и маюскулы^[46] добросовестный, смиренный писарь, почти что средневековый каллиграф, инкунабулы,^[47] которого неведомо как и когда пересекают грань, отделяющую книжку от Книги, поделку писаря от произведения писателя, копировщика от артиста! Обретая беглость формы, употребляя даже красную тушь для расширения шкалы служебных ступеней, я предусмотрительно, но, видимо, инстинктивно, осторожно относился к их содержанию. Я не только легкомысленно не разбрасывался раздачей королевств, но не допускал даже и того, чтобы кто-нибудь мог возвыситься чрезмерно. Что могло быть проще, чем выписать какую-нибудь охранную грамоту, которая открывала бы все, то есть абсолютно все, двери дворцовых стен и сокровищниц? Так вот, и пусть это будет мне похвалой, я так и не создал подобного документа. Правда, бывали моменты, когда в эгоистической заботе о собственном величии я об этом подумывал. Мне вспоминается книжечка-удостоверение, специально изготовленная для инспектирующего посланника с чрезвычайными полномочиями. Каждый очередной бланк, выписанный карандашом иного цвета, расширял круг его правомочий. Я живо представлял себе, как он предъявляет самым низшим чинам первый листок Удостоверения-Пропуска, этакий совсем обычный, с двумя треугольничками печатей, и ключники с некоторым промедлением начинают отодвигать перед ним засовы первых дверей; а вот он, слегка отвернувшись, вырывает второй листок – зеленый; и, увидев его, замрут офицеры; но тут он бросает на стол стражи третий листок и четвертый – белоснежный, с кровавой Главной печатью, и высшие офицеры вытягиваются в струнку, сдерживая дрожь в коленях, а он проходит мимо отдающих честь стражей к Высоким дверям, и тут уж сам генерал-ключник^[48] еще секунду назад воплощение неприступности, в мундире, источающем золотое сияние, взопревший от служебного рвения, обеими руками настезь распахивает перед ним двери, так что лязг открываемого замка сливается с бриллиантовым звоном генеральских орденов, и, замерев, отдает честь – этот монументальный старец – блеском добытой в бою шпаги не особе, переступающей порог, а невзрачному корешку книжечки пропусков, которую Посланник небрежно держит в руке.

Разве не щекотала нервы мысль об этом восхитительном аукционе Пропусков, об этом все возрастающем, по-гурмански отмеряемом могуществе абсолютно законных полномочий? Никакой батальный пейзаж родом из Сенкевича,^[49] никакой гром орудий не мог сравниться с тихим шелестом Купонов Могущества, падающих на серый стол среди серых стен Замка! Какая же магия скрывалась в Главной печати, которой никто – даже я сам! – не в состоянии был понять и разгадать, поскольку в центре ее стоял Знак, Тайный Сам в Себе, то есть Шифр Без Ключа, свидетельствующий без обиняков, что предъявитель сего является посланцем Неназываемого!

Уж не был ли он Инспектором, ниспосланным Творцом, экзекутором самого господ бога? Этого я не знаю. Он прибывал ниоткуда и – выполнив свою задачу – опять должен был уйти в ничто.

Действительно ли я представлял себе все это так подробно и искусно? Более или менее, ибо в принципе, только выписывая Удостоверения, я одновременно отдавался под их начало, между мною и ими возникала своеобразная разность потенциалов, которая уже сама по себе определяла дальнейшее направление событий, мне оставалось только домыслить его. Откровенно говоря, я не придумывал никаких историй, не конструировал фабул иначе как в виде туманных приближений и намеков, они возникали сами, заполняя пустоты между отдельными документами. Возникающие одна вслед за другой бумаги были лишь узловыми

пунктами запутанной служебной драмы, источником сил, приводящих в движение – как солнце приводит в движение планеты – троны, стражу и шеренги. Поэтому, даже и не желая этого, я всегда был обязан присутствовать – своими удостоверениями – в любой момент и в любом месте, где течение событий создавало критическую ситуацию, где – если не показать соответствующих бумаг – вещи, государство, мир могли бы завять, замереть, замкнуться в себе; в этих условиях удостоверения не были всего лишь цезурами ни разу не названных событий, но их создателями, двигателями существования и дальнейшего развития. Обратите внимание, сколь современный характер носило это мое гимназическое открытие. Вначале, хоть я и не был посвящен в законы творческого искусства, я усиливал выражение и впечатление, ничего, то есть никакой личности, никакой сцены, не описывая в лоб; все, что я воздвигал в самоусложняющейся драме существования, было производной, вовлечением, додумыванием, продолжением; из отдельных удостоверений, пропусков, доверенностей можно и нужно было делать выводы о лицах, незримо стоящих за ними, так же как по ветвистой тени делают вывод о солнце, дереве, лучах света, законах неба и земли. Далее, немного подобно тому, как и антироман второй половины двадцатого века, я все внимание концентрировал – как невольный предтеча – на предметах, признавая тем самым, что движение, жест, слово, страсть люди для своих сообщений, эмоций, переживаний, конфликтов черпают из предметов, а не из себя самих; но в этом аскетическом универсализме я пошел дальше, чем антироман, – я ведь не писал антироманов, – поскольку в неизбежном и окончательном самоограничении выдавал лишь формуляры *in bianco*! Делая же это, я отказывался от излишних фабулярных усложнений и старосветских описаний чьих-то рук, глаз, урбанистического или же природного фона, от устаревшей психологизации действующих лиц, анахронизма романтических ходов, долбя печатями, графитом, зубчаткой все время только в самое суть, ибо благодаря столь всестороннему отказу, упущениям столь же тотальным я доказал, что весь мир можно выразить молчанием. Я действительно мечтал об этом на уроках латыни или математики, когда под прессом царящей на них дисциплины не мог действовать и вынужден был притворяться, будто внимательно слушаю профессорские лекции; тогда я мысленно подсчитывал уже выданные в тот день удостоверения, складывающиеся, правда, в единое целое, но такое, вокруг которого воображение могло понастроить, вообще-то говоря, неисчислимое множество вариантов конкретного развития событий; таким образом, эта последовательность книжек с бланками была жесткой осью, направленной своим продолжением в сердце Замка, но избирательный дух мог свободно наматывать на нее воистину бесчисленное множество драм, ибо – говоря языком теории литературы – мое творчество позволяло прочесть его бесконечным количеством способов. Взять хотя бы относительно простую историйку с уже упоминавшейся Инспекцией. Ее увертюрой были несколько доверенностей на получение золота в слитках, удостоверений, снабженных пропусками на машины, окованные броней, – необходимое средство перевозки. Поражало то, что количество ценного металла резко возрастало, достигнув, наконец, массы, для перевозки которой требовался уже чуть ли не весь подвижной состав какого-нибудь армейского корпуса. Отсутствие некоторых документов после того, как были использованы эти ассигнаты, могло свидетельствовать о том, что соответствующие инстанции отнеслись с почтением к продиктованному им количеству звонких брусков, подлежащих выдаче, а охранники, не пикнув, выдали эту тысячу сундуков, надрывающих мускулы людям и вьючным животным. Затем появляется некое полномочие самого низшего разряда, дающее право лишь на то, чтобы переступить линию внешних стен, а также на осмотр караульного помещения и трех фортов. Какая задача была у этого низшего контролера? Не известно – во всяком случае, кто-то где-то приказал ему обследовать сторожевые пункты, а может, и кое-что побольше. Опять пробел, и перед нами уже приказ (не разрешение!) войти в хранилище Нижнего Этажа, выданный на

предъявителя, с продолговатой зеленой печатью. А затем уж внутренняя проверка, устроенная потому, что где-то наверху возникло недоверие, может быть, подозрение. Наконец – уже упоминавшаяся Верховная Инспекция, результаты которой абсолютно никому не известны, и – апофеоз всей этой истории – словно гром с ясного неба, после долгого молчания канцелярского механизма – новый документ, личное удостоверение монарха! И к тому же – на предъявителя! Теперь рыхлая стопка документов резко уплотняется, превращается в набор бумаг прямо-таки невероятного значения, резкий свет падает вспять, освещая минувшие события, да еще какие, коль после вывоза золота появилась необходимость сменить короля, и, будто этого еще мало, новый владыка вступает на трон тайно, как аноним, имени, лица которого никто не знает и никому знать не положено! О, какие же дьявольские махинации должны были свершиться на участке между тронным залом и подземельями сокровищниц, сколь долгий ряд покорно склонившихся дворян, посредников, бравых начальников стражи, привратников, генерал-ключников, тайных агентов, вступивших в предательские сношения с Кем-то вне Стен и Врат, помог опустошить дворцовые подземелья, свершив акт измены, одобренный самою короною – вершиной государственной иерархии! Какая же изощренность в этой постепенно возрастающей жажде выплат – сатанинская радость после каждой удавшейся операции; что за продажность самого трона, а как знать, не еще ли хуже... Потому что, посудите сами, что стало с Низшим Инспектором? Он пошел в Замок, предъявил удостоверение и словно канул в Лету. Может, он обнаружил что-то, что возбудило у него подозрения? Или какой-нибудь унтер-офицер из периферийной стражи, недовольный низким жалованьем, рассчитывая на повышение, нащептал ему какие-то сплетни, слухи, в которых чувствовался намек на Высочайшее обвинение?!

А если бы это дошло куда не следует – в случае, если унтер был провокатором, – то тинистая, темная, отдающая гнилью вода во рву могла без единого всплеска принять ночью тело чиновника, сомкнуться над ним, и опять только часовые перекликались бы на башнях, а бумаги днем и ночью циркулировали бы в управлениях, спокойно и благородно, как звезды и солнце на небе.

Но ведь Канцелярии бодрствовали... Они не хотели больше посылать своих людей на смерть и гибель – *ex ungue* распознали леопет, ^[50] набравшись мужества, которое представляет собою не более чем приверженность бессмертной букве, догадались, кем мог быть ультимативный свершитель такого поступка...

И вот в один туманный день раздается стук в ворота – и как солнце, поднимающееся над горизонтом, сначала показывает лишь розоватый, зыбкий краешек и заглядывает им в глубокие бойницы, в оконца, пока, наконец, в зените явит миру весь свой раскаленный до полной белизны диск, так и Посланец в нужном месте нужным людям предъявил прямо в лицо пурпур круглой печати, которая извлекла из них мерзость предательства, прикрытую неожиданной гримасой страха. Но, быть может, не было произнесено ни слова, не задано ни вопроса, не брошено ни обвинения – защищенный, как непроницаемым панцирем, Удостоверением, крепче, чем эфес шпаги, сжимая в руке корешок книжечки с бланками, уже пустой, уже исполнившей свои функции, но все еще пышущей могуществом, он ушел, минуя все ворота, прошагал по бревнам моста, исчез в светлом тумане – после чего спустя несколько дней неожиданно грянул гром, ниспровергающий короля и одновременно короля создающий! История, как говорится, примитивная... полная пробелов, наивности, слишком простая для наших утонченных вкусов – возможно. Но ведь я нарисовал всего лишь один из придуманных мною – тринадцатилетним школяром – вариантов прочтения лишь нескольких бумаг, говорящих сухим языком канцелярий. К тому же я запомнил не все документы, наверняка даже в этом деле их должно было быть гораздо больше, не говоря уж о других, где цепь улик, составленная из удостоверений, полномочий, пожалований, отличий, награждений и доверенностей была столь

невероятно сложной, что сам выдающий их мог в них запутаться и даже не вспомнить о тех нагромождениях гипотез, которые можно было бы возвести вдоль остова канцелярской деятельности. Воображение должно было работать внутри воображения, это было усиление могущества, взлет на все большую высоту, полет, однако, не теряющий опоры, грунта, поскольку он выросал всегда из бесспорных материальных фактов, в существовании которых невозможно усомниться, как невозможно усомниться в существовании деревьев, камней и бури: из несокрушимых, как сама природа, формуляров...

Не запутывался ли я сам в безграничье этой канцелярщины?.. Трудно сказать. По чисто техническим соображениям я не вел, разумеется, никаких картотек, они просто не уместились бы в ранце, да и, откровенно говоря, мне не хотелось этого делать (что я самым старательным образом скрывал от себя самого). В результате это иногда приводило к столкновениям противоречивых документов, взаимоисключающих друг друга бумаг, к *Cripen Laese Legitimationis*,^[51] – но ведь это может случаться и в реальности, а поэтому с помощью селективной работы воображения можно было объяснить даже мои ошибки, более того, они, эти просчеты, создавали условия для нового неожиданного, порой адского усложнения драмы, давая понять, что даже внутри самих канцелярий нет всеобщего, единомыслия и однородности, что и там скрытно, исподтишка борются друг с другом антагонистические силы, что одни Канторы подкапываются под другие, что и они не являются единственными обладателями Главной печати и всех печатей низших, ей подвластных, но кружатся вокруг нее, вокруг них, перепутавшись до невозможности, в неотвратимом рвении, и эта извечная пульсация молчаливых, беззвучных битв еще раз – уже последний – доказывает, что сила и закон Канцелярий не в чиновниках, служащих – одним словом, не в людях, а в пространстве, отделяющем лица от бланков, руки от печатей, глаза от Двери. Однако почему – спросит кто-нибудь – я смею требовать особой благосклонности к бумагомаранию толстого гимназиста, ведь и у шутки должен быть предел? Отвечаю: уж слишком стыдливо мы умалчиваем об абсолютно необходимой благосклонности человека к искусству. И нас воспитывали, и мы воспитываем в наших подопечных убеждение, будто творения искусства лишь немногим отличаются от лежащих в полутьме граблей. Наступивший на них получает такой удар по лбу, что у него из глаз вылетают снопы искр; так же, а не иначе, должно обстоять дело и с великими произведениями: человека, приобщившегося к ним, оглушает – охватывает – неожиданный восторг! Эта благородная ложь столь распространена, что когда по прошествии нескольких лет после описанных здесь событий я вынужден был бежать от гестапо из «погоревшей» квартиры, оставив среди личных вещей тетрадь с собственными стихами, то к сожалению о невозполнимой потере, понесенной национальной культурой, примешалась твердая уверенность в эстетическом шоке, который должны были испытать те из моих преследователей, которые владели польским языком. Некоторое время спустя, поумнев, я краснел при одном воспоминании об этом, но исключительно лишь потому, что понял, сколь чудовищно графоманскими были мои сонеты и октавы – таким образом, я стыдился именно отвратительного качества, все еще не понимая, что качество поэзии не имело в той обстановке абсолютно никакого значения. Совершенно иначе выглядел бы наш мир, если б в нем можно было воздействовать на гестаповские души пусть даже самой высокой поэзией. Повергнуть кого-либо искусством невозможно – оно пленяет нас, если мы соглашаемся быть плененными. На то, что становится тогда элементом взаимного стимулирования, падения на чужие колени и соревнования в восторгах, то есть мошенничества и коллективного самообмана, нам открыл глаза уже Гомбрович,^[52] но есть во всем этом и еще кое-что, причем в лучшем роде, а именно – читательский талант. Прочсть «Золушку» как добродетельную сказку сумеет и ребенок, но как же без утонченности и Фрейда усмотреть в ней пляску извращений, созданных садистом для

мазохистов? Вопрос о том, содержится ли в сказке закамуфлированная непристойность, свидетельствует сегодня лишь о наивности вопрошающего. Потом он неизбежно будет утверждать, что робгрийетовский,^[53] детектив из «Резинок» – типичный партач, ибо таково буквальное звучание произведения, а несвязность поведения Гамлета проистекает из того, что Шекспир решил соединить воедино слишком много разнообразных элементов из предыдущих версий этой драмы. Вместо ответа современный теоретик укажет вам пальцем на небо, на котором – если рассуждать буквально – звезды рассыпаны совершенно бессистемно, а между тем всем известно, что они складываются в зодиакальные фигуры богов, животных и людей. Ведь в принципе для того, чтобы возвысить, облагородить любое произведение или, наоборот, счесть его банальным, плоским, достаточно во время знакомства с ним установить на сцене своей души такой фон, такую декорацию, которую мы сочтем наиболее подходящей. Это не инертный фон, а система отсчета, в которой неестественно переломленный пруттик может оказаться древнеяпонской стилизацией ветви, а достаточно выщербленный камень – скульптурой, олицетворяющей дух нашего разрывающегося на части времени. Стало быть, по одному и тому же поводу можно кричать: «ошибка!», «несообразность!» или наоборот: «гениальный диссонанс!», «бездна, показанная путем удачного разлома логических связей!» Не каждый позволяет себе произвольно придать произведению совершенно новый фон, этим занимаются специалисты, которые частенько тоже не знают, что к чему; отсюда споры, распри и совещания, а также все возрастающие заботы. Ибо авторы, стремясь превратить плоды своих усилий в семантические калейдоскопы, начинают изъясняться все менее внятно, выражая свои замыслы не то что полунамеками, а уж какими-то четвертьнамеками. Конечно, массы и власти в принципе не особенно благосклонны к воплощенческим начинаниям гимназистов, но коль уж мы знаем механизм явлений, то можем по крайней мере на равных с другими правах надеяться на благожелательное отношение, и не только в собственных интересах, ибо мы подозреваем, что в глубине запыленных библиотек хранится уйма неоткрытых Канетти^[54] и Музилей^[55] множество произведений, которые никогда не покажут всего своего великолепия, если мы не поможем им указанным уже образом.

Но всего этого я в то время не знал. Старательно ограничивая полномочия, даже монаршие, сам безымянный в этой муравьиной работе, я растворялся в созданном мною творении, не превышал меры, не допускал инфляции Бумаг, а благодаря столь абсолютно практикуемой скромности объединял сакральное с реалистическим. Сакральное, ибо я инстинктивно предположил, что вначале было Удостоверение; реалистическое, поскольку эти действия нашептывал мне сам Genius Temporis.^[56] Если же где-то в отдалении и светило мне Всеудостоверение Личности, Наисветлейший Документ, тяжелый от опечатающих его красных восковых солнц, весь в гирляндах многоцветных шнуров, зачатие Summis Auspiciis^[57] хаоса, в котором параграфы и картотеки витали еще в состоянии, свободном от Служебной Лестницы (той, что в другом контексте превратилась в Лестницу на небо^[58]), я отбрасывал от себя эти искушения, эти святотатственные мечты, это цепкое желание проникнуть в Суть, словно бы я предчувствовал тщетность подобного намерения, попытки, заранее обреченной на провал, и только – упорный, в мелочном уточнении, – создавая в ходе канцелярствования то пачку ассигнаций на сто мешков крупнозернистого золотого песка на предъявителя (да, но только такого, который одновременно предъявит Полномочие Пятой Степени), то книжечку Палача II категории, сшитую серебряной проволокой, объединяя на своей парте Бытие с Повинностью, отгородившись стенкой из учебников, я возвысил мертвую по природе и бесплодную бюрократическую деятельность до уровня артистизма. Я вознесся на крыльях Удостоверений над серой юдолью и уже в свободном полете одним росчерком пера и

прикосновением зубчатого колесика от будильника вырывал из небытия необъятные миры. Итак, будучи неполных тринадцати лет, я создал, скрестив литературу с графикой (и то и другое необходимо для создания документов), новое направление, а именно – удостоверизм, то есть сакрально-бюрократическое творчество с двуединым додуманым метафизическим патронатом, святым Петром и Полицейским в одном лице, ибо удостоверения, как известно, существуют затем, чтобы их предъявлять.

Я, разумеется, не верил в собственное детище – в конце концов я лишь играл на уроках истории, географии и даже – о позор! – польского языка... и все-таки... Никогда никому я не показывал даже краешка своих бумаг и поверг себя в такое состояние духа, что, найди я, предположим, на улице удостоверение на предъявителя, доверяющее выкопать сокровища из-под Песчаной горы, я, вероятно, обрадовался бы, но не удивился... Потому что – мне очень трудно это выразить – все было немножко так, будто, зная, что я не изготавливаю настоящих документов, я одновременно чувствовал, что все-таки какой-то отсвет истины на них падает, что все это не полностью и абсолютно бессмысленно, хотя одновременно и является таковым – но только условно: ведь я знал, что за мои ассигнации никто не даст не только горсти рубинов, но и вообще ломаного гроша; однако если я не создавал этих звонких ценностей, то, может, изготавливал какие-нибудь другие? Какие? Ценности в себе, как соборы Орвиета и Сиены, которые атеист пытается как-то принизить, говоря, что они-де не более чем очень большие строения, перечеркнутые попеременно белым и черным, как пижама в полоску... Разумеется, бесконечно легче было бы высмеять и свести к нулю мой собор, который не был настолько, как те, материален не вследствие неустойчивости строительного материала, а исключительно из-за того, что те попросту существуют, а мой был всего лишь приравнен к ним. Или, как сказал бы уже современный кибернетик, он был аналоговой многозначной моделью отношений, которые можно обнаружить в мире. Но до этого-то уж я действительно и додуматься не мог. Чувствуя кожей, что того, чего даже я не могу выразить, никто не поймет, а увидит во всем этом всего лишь мой инфантилизм, я молчал, оберегая Тайну. Увы, произведения того периода погибли, даже самые ценные – например, такие, как «Декрет о гимнастике», с оттиснутой двугрошовой монетой серией Малых печатей и снабженный для придания весомости кусочком желтого шнурка, который я на большой перемене оторвал от ботинка, или же разрешение брать в рабство приглянувшихся, с приложенной к нему книжкой паролей, относящихся по сложности к Тайному ключу I класса (о шифрах я знал в основном благодаря «Приключениям храброго солдата Швейка»). Мой труд погиб, но путь остался как весьма многообещающее, четко указанное направление.

Поскольку всю мою обширную канцелярию я приводил в движение исключительно в гимназии (мне жаль было тратить на это время дома – впрочем, у меня просто не хватило бы терпения сидеть над ней специально, а в классе я просто был вынужден отсиживать), постольку эти интенсивные занятия не отнимали домашнего времени. В то время я очень много читал. Помню «Остров Мудрецов» Буйно-Арктовой, представлявший собою что-то вроде предшественника современной science-fiction; как-то я так и не удосужился переложить этот пухлый роман на удостоверения.

После всего рассказанного, вероятно, будет понятно, почему, будучи столь занятым, а в связи с этим рассеянным мальчишкой, я никогда не мог, исполняя функции казначея в школьном самоуправлении, сбалансировать кассу, и отцу приходилось добавлять мне один, а то и два злотых в месяц. Я не растрчивал общественных средств, просто грошовые взносы как-то перепутались в моем сознании с возами золота и сундуками бриллиантов, которыми я мысленно ворочал, а возникающий в результате балаган приводил к дефициту в реальном бюджете.

Строго придерживаясь, как истинный бюрократ, времени, отведенного на труды

канцелярские, дома я даже не смотрел на Бумаги с Удостоверениями; в перерывах между репетитором, французенкой и ужином я занимался творчеством совершенно иного рода: делал изобретения. В школе я вообще о них не думал, поглощенный канцелярщиной, дома же, словно переставив железнодорожную стрелку, все свои мысли я направлял в другую сторону; это было совсем просто. Я, пожалуй, не могу сказать, которое из двух занятий считал более важным – этим я напоминал мужчину, ухитряющегося отлично поделить себя между двумя поклонницами; и тут и там я был искренним, как он, отдавался с легкостью и без остатка, поскольку все было подробно распланировано, или, вернее, потому, что все прекрасно сложилось. Возвращаясь домой, я знал, куда мне надо пойти, чтобы купить провод, клей, парафин, шурупы, наждачную бумагу; причем, если отцовской дотации не хватало, я или уговаривал щедрого по натуре дядю, брата мамы, тоже, как и отец, врача, или же комбинировал. У дяди, которого я звал по имени, почти как товарища, иногда бывали приступы расточительности, которые моим родителям не нравились. Несколько раз я получал от него пятизлотовку с Пилсудским, которую не клал в портмоне-подковку, а на всякий случай вообще не выпускал из кулака. Помню, как, идя по городу со вспотевшей монетой в руке, я чувствовал себя замаскированным Гарун аль-Рашидом, а мой взгляд, наталкивающийся на витрины магазинов, в доли секунды разменивал серебряный металл на неисчислимое множество выставленных вещей, однако ни одну из них я пока не собирался облагодетельствовать, купив ее, зачерстивший внутренне в неожиданной скупости миллионщика. Как правило, я вкладывал свои сбережения в изобретения, которые, совсем как у настоящих изобретателей, ухитрялись любую сумму поглотить без остатка – и без результата. Будучи работающим чиновником, я сохранял спокойствие, поскольку канцелярствовать с вдохновением невозможно, техника же горела во мне жарким, святым пламенем. Я приносил ей кровавые жертвы из вечно кровоточащих пальцев, облепленных пластырями, упорный в поражениях, с разбитым сердцем и обломанными ногтями, но все время ищущий, обуреваемый новыми замыслами, новыми надеждами. Я долго конструировал электрический моторчик, внешне напоминающий старую паровую машину Уатта с балансиром; вместо цилиндра с поршнем у него была электрическая катушка – соленоид, магнитное поле которого всасывало внутрь железный сердечник. Специальный прерыватель посылал в обмотку катушки импульсы тока. Это было, как оказалось впоследствии, изобретение вторичное, ибо подобные моторы уже существовали, а точнее – уже перестали существовать, как непрактичные, непроизводительные и малооборотные. Но это, разумеется, не имеет значения. Знаю, что в то время я, пожалуй, впервые проявил чрезвычайно длительное упорство и переделывал эту модель десятки раз, прежде чем она, наконец, заработала. А когда моторчик, неуклюжий, собранный из кусочков жести, выпрошенной у жестянщика (он содержал небольшую мастерскую в нашем доме), наконец, заработал, я уселся среди пережженных батареек, путаницы проводов, масляных пятен, отходов, а также молотков и плоскогубцев (на них едва успела пообсохнуть кровь совсем недавно изничтожаемых игрушек) и смотрел на скрежещущие, медленные, не совсем равномерные обороты, на колебания кривошипа, на маленькие искорки в прерывателе, грязный, измученный и торжествующий. Если потом я и хвастался перед домашними, демонстрируя им мотор, то делал лишь то, что делает на моем месте каждый мальчишка; однако самой торжественной была минута, когда исполнилось, когда был завершен творческий акт и мне уже нечего было делать – мотор работал, спотыкаясь, пожалуй, до темноты, а я только смотрел. Это было, если я не ошибаюсь, совершенно особое удовольствие, не требующее никаких похвал извне или свидетелей. Мне не был нужен никто, поскольку – свершилось! Ни Уатт, ни Стефенсон не могли испытать более бурных ощущений. Ясное дело, этим я ограничиться не мог. Я жаждал новых свершений. Очень долго и терпеливо я занимался электролизом воды, подсыпая в нее

самые различнейшие вещества, отнюдь не рассчитывая, что в один прекрасный момент на электродах появится золото. Во-первых, я знал, что этого случиться не может; а во-вторых, мне было нужно не золото. Речь шла о создании субстанции, вообще до тех пор не существовавшей; я соскребал с электродов коричневые, красные, серые порошки и старательно прятал их в баночки. В конце концов я убедился в недостаточности моих познаний. Я начал более систематично строить электрические аппараты, в качестве руководства избрав толстую немецкую книгу, напечатанную готическим шрифтом, «Elektrotechnisches Experimentierbuch». Правда, в течение двух лет я уже изучал в гимназии немецкий язык, однако на этом языке не мог прочесть, то есть понять, ни одной фразы. Поэтому я начал разгадывать немецкий текст с помощью словаря, немного напоминая этим Шампольона, разгадывавшего египетские иероглифы; это был сизифов труд. Как бы там ни было, он принес результаты, поскольку в конце концов я проштудировал книгу от корки до корки и построил машину Вимшерста и индуктор Румкорфа: по непонятным причинам я обожал мощные электрические разряды. Я был очень неряшлив по натуре, страшно нетерпелив, небрежен, и тем более странно, что ухитрялся подвигнуться на самоограничение, на мозольное повторение попыток, когда десятки их не приносили никаких результатов. Дважды повторялся многомесячный, кровавый труд, кровавый буквально, потому что пальцы и костяшки рук были у меня – неловкого манипулятора – все в порезах, перевязанные грязными бинтами, когда я наматывал на склеиваемые собственноручно бумажные катушки несколько километров обмотки, каждый слой которой заливал парафином, перекладывал восковой; еще хуже дело шло с электростатической машиной, поскольку я не мог найти нужного материала для дисков. Вначале я пробовал использовать старые граммофонные пластинки диаметром чуть ли не шестьдесят сантиметров, оставшиеся после кинематографа и записанные только с одной стороны, но они оказались непригодными. Наконец я достал пластины от очень старой и уже не работающей машины Вимшерста, с помощью лобзика вырезал из них пластины поменьше, отбрасывая позеленевший от старости эбонит, обточил их на электромоторчике, весь в клубах зловонного дыма и черной пыли, залезавшей в глаза, волосы, скрежетавшей на зубах, забивавшейся под ногти. В конце концов машина была построена. Забавно то, что одновременно у меня была масса неприятностей на уроках труда, поскольку все, что я там делал, было немного кривым, неустойчивым, неаккуратно выполненным, и мне постоянно ставили плохие отметки.

Потом я еще построил трансформатор Тесла и упивался неземным светом вакуумных трубок Гейслера в поле высокого напряжения. В то время я облюбовал магазин учебных пособий в пассаже Хаусманна. Помню, небольшая, но гораздо более совершенная, чем моя, машина Вимшерста стоила там 90 злотых – это была цена костюма. Много лет спустя, на первом курсе, первые деньги, какие я получил в жизни, – стипендию в Медицинском институте (это был 1940 год) – я полностью истратил на покупку трубок Гейслера. Моя машина Вимшерста тогда еще действовала. Погибла она только после начала войны, в 41-м году.

Занимался я и теорией. То есть была у меня кипа тетрадей, в которых я записывал изобретения, прилагая к ним «технические эскизы». Некоторые помню. Был там приборчик для разрезания зерен вареной кукурузы, чтобы при еде кожица оставалась на кочне; самолет в форме огромного параболоида, который должен был летать над облаками, где собираемые вогнутым зеркалом солнечные лучи превращали воду, заполнявшую резервуары, в пар, приводивший в движение турбины пропеллеров; велосипед без педалей, на котором надо было ездить «галопируя», как на коне, седло ходило в полой трубке рамы словно поршень в цилиндре, а приводимая им в движение зубчатая рейка должна была вращать ведущее колесо; источником движения, таким образом, был вес сидящего, который должен был подниматься и приседать, как на стремянах. В другом велосипеде привод был на переднее колесо, благодаря

тому, что руль раскачивался словно маятник, соединенный рычагами с эксцентриком, как у паровоза. Был там автомобиль, в двигателе которого роль свечей зажигания играли... камушки от зажигалки. Была и электромагнитная пушка – я даже построил небольшую модель, потом оказалось, что уже задолго до меня кто-то придумал нечто подобное. Весло с лопаткой в форме зонтика, который под воздействием сопротивления воды сам попеременно раскрывался и закрывался. Самым значительным моим изобретением, несомненно, была планетарная передача, изобретение столь же вторичное, как многие другие, с тем отличием, что мне не было знакомо даже его настоящее название, но конструкция эта по крайней мере была реальной; ее используют и по сей день. Не обошлось, конечно, и без моделей «перпетуум мобиле», которых я навывдумывал несколько штук. Были у меня тетрадки, посвященные исключительно конструкциям автомобилей, например, в одной из них небольшие трехцилиндровые двигатели, напоминающие авиационные, были размещены в барабанах колес; вариант этой идеи был использован на практике, только вместо двигателей внутреннего сгорания внутрь колес вмонтировали электромоторы. Помню я еще двухпоршневые двигатели и даже что-то вроде ракеты, которую должны были приводить в движение ритмично повторяющиеся в камере сгорания взрывы газов; я сразу же подумал об этом изобретении, прочтя в 44-м или 45-м году о механизме немецкой «ракеты возмездия» Фау-1. Конечно, это не значит, что я изобрел Фау-1 до немцев, просто сам принцип действия был несколько схож.

Кроме того, я проектировал различные боевые машины: одноместный танк – что-то вроде стального плоского гроба на гусеницах, с автоматическим пулеметом и мотоциклетным мотором, танк-снаряд, танк, перемещающийся по принципу винта, а не благодаря поступательному движению гусениц (есть уже такие тракторы), самолеты, могущие взлетать вертикально благодаря изменению расположения двигателей, то тянущих вертикально, то горизонтально, – и множество иных, больших и маленьких машин, приборов, заполнявших толстые черные тетради, а также тетрадки поменьше, обклеенные мраморной бумагой. Рисовал я тщательно и, разумеется, с фантастическими табличками, в которых фигурировали придуманные цифровые данные и другие важные технические подробности.

Одновременно росла моя библиотека, все более обогащаясь научно-популярными книгами, разными там «Чудесами природы», «Тайнами вселенной», а параллельно заполнялись и другие тетради, в которых я проектировал уже не машины, а животных; выполняя – per procura^[59] – роль заместителя эволюции, ее главного конструктора, я планировал различных жутких хищников, производных от известных мне бронтозавров, или диплодоков, с роговыми дисками, пилоподобными зубами, рогами и даже некоторое довольно продолжительное время пытался придумать животное, которое бы вместо ног имело колеса; причем я был настолько добросовестным, что начал с изображения скелета, чтобы представить себе, как бы можно было воплотить в материале мускулов и костей элементы, позаимствованные у локомотива.

Уделяя так много места описанию моих конструкторских занятий в низшей гимназии, рассказывая об открытии давно открытых Америк, подчеркивая количество труда, которого требовали эти – столь тяжкие – труды, я не забываю о том, что это было не более чем игра. Трудности я создавал себе сам, подчас слишком оптимистично соизмеряя силы с намерениями, ибо были у меня и поражения; например, когда я пытался повторить Эдисона и построить фонограф! и хотя я перепробовал все доступные виды иголок, мембран, скалок для текста, воска, парафина, станиоля, хотя до хрипоты надрывался над трубами моих фонографов, мне так и не удалось добиться того, чтобы хоть один из них отплатил мне за мои труды пусть даже слабеньким скрипом закрепленного голоса. Но, повторяю, это была игра; я знал об этом и даже, с некоторыми оговорками, соглашаюсь сегодня с собой, тринадцатилетним, в такой оценке. Эпоха разрушения, уничтожения предметов, попадавших мне в руки, не переросла в

следующую – конструирования – неожиданно, резко. Их связывал переходный период, как мне кажется теперь, более интересный, как феномен, чем оба названные: период работ мнимых. Так, например, долгое время я строил – до великих технических начинаний – радиоаппараты, передающие и приемные станции, которые не могли, да и не должны были работать.

Я собирал их из старых катушек от ниток, перегоревших ламп и конденсаторов, толстой медной проволоки, снабжал возможно большим количеством солидно выглядящих кнопок и рукояток, монтировал на досочках, в жестяных коробочках из-под чая, и если, будучи натуралистическими, неладными копиями настоящих аппаратов, они не устраивали меня своим видом, недостаточно нравились мне, я, инстинктивно ощущая потребность подчеркнуть их значительность, втыкал в эту искусную мешанину то какую-нибудь блестящую железку, то пружинку, специально для этой цели выкрученную из будильника, насыщая свое детище до тех пор, пока неведомое чувство подсказывало мне, что уже довольно, что вид псевдоаппарата соответствует моим требованиям.

Повторяю еще раз: я играл. А меж тем конструкции, удивительно похожие на мои тогдашние, можно сегодня найти на выставках скульптуры. Неужели и в этом я был предтечей? Мысль уж чересчур лестная, особенно если вспомнить недавнее приключение на Выставке абстрактной скульптуры. Центральную часть экспозиции занимали идолообразные и кренделевато-дырявые антиторсы и антискульптуры, на стенах же висели коллажи (а разве нельзя их назвать попросту аппликациями?) различного формата и происхождения. Проходя мимо натянутых на станки абсолютно девственных полотен, лишь в двух-трех точках подпертых с обратной стороны кольшками, геометрически оттопыривающими простынную белизну, минуя оправленные в рамы грязно-серо-зеленовато-дерюжные конгломераты, в которых наблюдательный глаз мог только вблизи обнаружить генеалогию материала, отождествляя отдельные их элементы с остатками каких-то сеток, застывших под слоем мастики или клея, металлическими стружками, пружинными пластинами, я в один из моментов остановился перед очередным экспонатом. Он был вполне спокойным, словно его создатель обуздал уже предварительные свои намерения, натянув сдерживающие вожжи; у этого произведения было что-то вроде прямоугольной рамы, изготовленной из листового железа; примерно в двух пятых от нижнего края, то есть в пропорции золотого сечения, его пересекала неряшливо прикрепленная планка, что-то вроде засова, а над этой основной линией простиралось пустое пространство старой, чуть ли не заплесневевшей жести с тремя почти симметричными отверстиями посередине; пробитые насквозь, они зияли пустотой, окруженные каждое чем-то вроде темно-сизого ободка. Воистину ослепшие звезды, дыры, оставшиеся на месте выбитых солнц! Подумал я и о той совершенной технике, которую применил художник, чтобы так естественно опылить отверстия бледнеющим к краю ореолом, постепенно уходящей в небытие пепельностью, об искусстве, с каким он прокалил поверхность металла, ибо она одновременно была оплавлена и местами шершаво-узловата от действия пламени; я начал искать табличку с названием произведения и именем автора, но ее не оказалось; и неожиданно, заморгав глазами, я сообразил, что произошло недоразумение. Выставка размещалась в большом подвале с красивым сводчатым потолком, экспонаты висели на неоштукатуренных стенах, и, как обычно в подобном месте, тут и там в кирпичные ниши были вмазаны дверцы дымоходов, Я стоял как раз перед такой заслонкой, проржавевшей и снабженной разболтавшимся засовом. Эстетическое зарево, полыхавшее перед моими алчущими глазами из этой выюшки, тут же сникло, угасая, а сама она, разоблаченная, неожиданно поскромнее, превратилась в банальную жестянку каминного дымохода; я же, оконфуженный, быстро отошел от этого места, чтобы уже перед подлинным произведением искусства вновь погрузиться в соответствующее состояние, то есть подстроить дух к требованиям абстрактного творчества.

Размышляя над этим приключением, я пришел к выводу, что в нем не было ничего предосудительного; если кто-то и виновен в том, что я так легко впал в ошибку, то только не я. Не такие вещи случались на подобных выставках; помню, как некий знаток, истинный, хотя, честно признаю, несколько близорукий ценитель, на другой выставке, на которой весьма обильно были представлены каменно-серые и гипсово-белые глыбы и комья, неожиданно энергичным шагом направился к выходу, неподалеку от которого на постаменте покоилась довольно крупная глыба с почти геометрически правильным переплетением поверхности, притягивающим глаз цветом и формой. На полпути он замер, вздрогнул и медленно повернулся, так как глыба оказалась самой обычной халой, творением пекаря, которую женщина, исполняющая обязанности кассирши, положила на первое попавшееся место, отправившись за чаем. Что же такое все-таки происходит с искусством, коль оно допускает возможность столь юмористических перестановок? Или поставщиком модных в настоящее время предметов могут быть равно каменщик, пекарь и играющий ребенок? Все это не так просто. Раньше художник, живописец, скульптор изготавливали предметы общественно необходимые; это были орудия, правда, своеобразные, ибо они помогали умершим переноситься в вечность, закланиям – свершаться, молитвам – обрести исполнительную силу, бесплодной женщине – зачать, герою – получить желанную награду в раю. Эстетическая сторона этих орудий была их составляющей, стимулирующей действие, вспомогательной стороной, но никогда – доминантой, непрактичной самоцелью. Поэтому художник имел свое четко обозначенное место на ступенях религиозной или государственной метафизики, он был инженером-изготовителем темы, а не ее автором; тематическое авторство приписывалось Откровению, Абсолюту, Трансцендентности; отсюда, как следствие, барьеры суровых ограничений, о которых мы столько говорили, отсюда также и тавтологичность тогдашнего искусства, которое в общем-то не говорит ничего нового, поскольку лишь повторяет на память отлично известные идеи: Распятие, Провозвестие, Воскрешение, акт размножения, выраженный в иносказательных символах, борьбу Аримана с Ормуздом.^[60] Свою индивидуальность неповторимый гений, художник протаскивал, если так можно выразиться, контрабандой в глубь полотен, скульптур и алтарей, и сила его таланта, в прямой зависимости от степени изобретательности, проявлялась в том, что, несмотря на подсознательное подчинение литургическим рецептам, могла в узкой полосе дозволенного, то есть неканонизированного до конца, проявить свое присутствие в принципе неисчислимыми способами. Он мог незначительно нарушить окаменение догмы, расшатать ее, мог заставить ее звучать более или менее явно в унисон с современным ему реальным миром, мог, наоборот, укрыть себя в собственном произведении с помощью системы диссонансов, едва ощутимых и тем не менее имеющих там разладов, в интерпретации которых мы можем сегодня совершенно ошибаться, поскольку то, что в каких-либо фигурах раннеготических святых мы воспринимаем как преднамеренное, даже юмористическое, отнюдь не обязательно было таковым для живших в то время людей. Правда, я охотно бы понаблюдал за минами многих из этих творцов, когда они оказывались один на один с возникающим образом. Эта контрабанда личности в область метафизической догматики представляется мне увлекательнейшим делом, ибо во многих крупных произведениях я ощущаю активное присутствие творца, обнаруживая это как своеобразную фальшь, как, может быть, только подсознанием отмеренные микроскопические дозы богохульства, ядовитая щепотка которого, как это ни парадоксально, еще больше усиливает официально святое звучание темы. Но об этом надо помолчать, по крайней мере здесь. Эпоха миновала, здание метафизического рабства рухнуло под ударами технической цивилизации, и художник оказался ужасающе свободным. Вместо декалога тем – бесконечность мира, вместо откровения – поиски, вместо наказания – выбор. Возникают эволюционные ряды: произведение буквальное, произведение, едва намеченное, каменное

обобщение тела, геометрический намек на него, фрагмент, обрубок, руина торса или головы; наконец, некто, копаясь в высохшем русле реки, выбирает из миллиарда окружающих камней один из-за его особой формы и несет на выставку. Обработка не обязательна, коль достаточно отбора. Таким образом, словно бы неумышленно – от случайности как Всеведущего Провидения переходят к случайности как статистической теории, слепому клокотанию сил, обрабатывающих камни в речном потоке, от сознательного созидания – к созиданию наобум, от необходимости к случайности.

Не только художник страдает от избытка свободы; потребители не в лучшем положении. Начинается своеобразная игра между художественным предложением и потребительским спросом или отвержением. Над мировой шахматной доской подобных игр возвышается отгоняемый пассажирами знатоков и специалистов, до муки наскучивший демон всеобщей неуверенности. Известный художник выставляет на обозрение шесть абсолютно черных полотен; что это – скверная острота, вызов или дозволенная шутка? Холодильник без дверцы, на велосипедных колесах, раскрашенный в полоску, – это что, можно? Стул, пробитый насквозь тремя ножками, – и так тоже можно? Но что значат подобные вопросы; коль это выставляют, коль есть зрители, и покупатели, и критики-апологеты, стало быть, через несколько лет все это будет изложено в учебниках по истории искусства как уже пройденный, неизбежный этап. Однако неуверенность продолжает существовать, поэтому произведения не называют по имени, а каждое из них снабжают калиткой интерпретационного отступления: это, говорят нам, поиски, новые опыты, эксперименты. Будущий историк искусства двадцатого века сможет не без удовольствия отметить, что наш, для него уже архаический, период не создавал почти никаких произведений, а лишь одни заявки на них.

Между тем художник, окруженный исключительно полезными предметами, превращает их в поле эксплуатации. Все создано для чего-то: для приема радиопередач, для бритья, для переезда с места на место, для помола муки или выпечки хлеба. Можно, вероятно, прикатить на выставку жернов с мельницы, но мизерность собственного вклада в этот творческий акт удручающе очевидна. Необходимо что-то сделать с предметом, отнять у него что-то, и только тогда, как бы волей-неволей, останется чистое выражение, одна эстетичность. Однако же появляются «машины для ничего». Я тоже их создавал. Не как предтеча, а как ребенок. Современный художник пытается стать ребенком в самом сердце цивилизации, в ребенке – отыскать избавительные ограничения. Ибо только он, ребенок, не ведает сомнений, ничего не знает о потоке условностей, только его игры еще остаются до смешного серьезными. Но найдет ли ищущий то, что пытается отыскать, скрывшись в ребенке от бездны чрезмерных свобод?

Художник жаждет вернуться к праначалу, туда, где труд был одновременно и игрой и творческим актом, где труд являлся и самовознаграждением, вне себя бессмысленным, самослужебным – да, это было состояние, в котором я взялся за изготовление псевдоаппаратов. Я строил их потому, что они были мне необходимы, а необходимы они были мне для того, чтобы я мог их строить. Это была петля, столь же замкнутая, сколь и идеальная – петля веры, которая гласит, что является Всем, – но этот упоительный *circulus vitiosus*,^[61] был естествен, поскольку мне было тринадцать лет. Я делал все, что умел, не преследовал никаких реальных целей, все время оставаясь в пределах своих – тринадцатилетнего – возможностей, и в то же время это отнюдь не было каким-то самоограничением, а как раз наоборот: это была моя наивысшая свобода, моя гимназическая кульминация. Если она и была зажужена, замкнута, то только самую природою, самым возрастом, в противоположность человеку искусства я вовсе не старался быть ребенком; чем же еще я мог быть в то время? Несчастный художник, ищущий ограничений в ребенке, в нем не уместается. Это правда, что слова: *credo, quia absurdum est*^[62] вырвала из уст человека спокойная абсолютность веры. И правда, что внутри цивилизации,

которая представляет собою пирамиду служащих человеку машин, нет ничего более абсурдного, нежели машина, которая ни ему, ни кому-либо другому не служит. Впрочем, абсурдность – это лишь та точка, в которой сошлись пути, различные по своему характеру. Скверно, если булку, речной гольш и дверцу от печки можно перепутать с произведениями искусства. Скверно, если увеличенную микрофотографию кристаллического шлифа, либо подкрашенный препарат живой ткани, либо рассматриваемую через электронный микроскоп колонию вирусов, опыленную ионами серебра, можно выставить на равных среди ташистских^[63] абстрактных полотен. Это вовсе не значит, что мне не нравятся абстрактные художественные композиции; наоборот, они бывают прелестны, но еще более оригинальные можно отыскать среди лабораторных препаратов или на почерневших участках коры в лесу, которые выткала своей белесой биологической вязью какая-нибудь плесень.

Несчастье современного искусства отнюдь не в том, что оно надуманно; напротив: мертвая и живая природа кишит подобными «абстрактными композициями», они знакомы микробиологу, геологу, математику, они содержатся в псевдометаморфозах старых диабазов, в микроструктуре амеб, в путанице жилок на листьях, в облаках, в форме выветрившихся скало-единцов; мастерами и предшественниками в этой области являются великие ваятели – уничтожители и созидатели одновременно, энтропия;^[64] и энтальпия^[65] тот же, кто не хочет с ними соревноваться (поняв – а это, кстати, понимают немногие, – что в конце концов проиграет), а ищет спасения в возвращении к сладостной дикости пещер, прячется в ребенке, в примитиве, – тот только попусту тратит время, ибо неандерталец и ребенок действовали и раньше его и оригинальнее.

Но, собственно, кто дал мне право все это говорить? Отвечаю сразу: никто. Со мной можно не соглашаться, тем более что я не в состоянии предложить какую-либо новую неволю, какое-либо спасительное ограничение. Тогда придется, увы, признать, что я все-таки был великим предтечей, да и не только я, но и все мои друзья из начальной школы, которые, болтая прутиком в луже с каплей пролитого бензина, творили моментальные, но изумительные цветочные композиции. Мы были великими, хоть и сопливыми, примитивами, а мои псевдорadioаппараты по сравнению с «мобилями» были тем же, чем был Босх,^[66] по сравнению с надреалистами. А какие композиции получались у нас еще раньше из манной каши, размазанной по тарелке! Впрочем, если имеет силу возврат к прошлому, а наимоднейшим течением окажется турпизм^[67] то я позволю себе напомнить, теперь уже с гордостью, свою запрудоненную шарманку. Разве это увечное творение, возникшее путем заполнения часового музыкального механизма измененной субстанцией телесного происхождения, разве результат подобного столкновения ньютоновской мысли (часовая точность движения небес, это ее исходная идея) с элементом анимального,^[68] разложения, одним словом, разве скрещение Идеи с Экскрементом не является истинным феноменом прокурсорства^[69] – более того, профетичности^[70] которую возглашает катастрофальный нигилизм? Будучи четырех лет от роду, я решительно отверг детерминальную необходимость мертвой мелодийки, актом воистину экзистенциальным открыто высказавшись за животную свободу, уже самим фактом расстегивания штанишек давая пощечину тысячелетиям трудолюбивых цивилизаций! К тому же надо учесть полнейшую ненужность, а стало быть, абсолютную бескорыстность этого спонтанного поступка...

Подобным рассуждениям нет предела. Не все является насмешкой, поскольку все оказалось конвенцией, уговором, в том числе и язык, и алфавит, и законы синтаксиса и грамматики; и если поле дозволенного достаточно расширять, если добиться хоть какого-то согласия, чего-то вроде хотя бы временного одобрения значений, приписываемых произвольному объекту, то с помощью произвольного знака, символа, предмета, картины можно выразить абсолютно все.

Можно будет выставлять отрубленные пальцы, стулья, у которых вместо спинки – грудная клетка и позвоночник человеческого скелета, а вместо деревянных ножек – берцовые кости; увеличенную, выполненную в бетоне луковицу – в качестве ссылки на эпистемологическую [\[71\]](#) симптоматику космической материи, то есть на ее многослойность и одновременно бесконечность путей познания, которые представляют собою как бы отделение очередных слоев: ибо исчезает общественная договоренность, ранее однозначная в своем отношении к Истинам, и нет уже такой свалки, с помощью которой при соответствующем освещении и в должной обстановке нельзя было бы выразить какой-то надуманной, темной, может быть, даже означающей осуждение цивилизации идеи. Возникло затемнение, затмение, информационная нечеткость, в которой собственным тоскливым светом кое-где дрожат единичные произведения, но все это пробуждает иррациональную тоску по освобождению от слишком Произвольной свободы, что уже давно не относится к делу, ибо разговор идет не о заботах взрослых людей, а о ребенке. Поэтому вернемся к нему по возможности непредубежденными.

Мне уже осталось рассказать немного, а целые толпы неназванных предметов домашнего обихода и улиц, по которым я ходил, настойчиво требуют, чтобы о них упомянули хотя бы раз. Что, собственно, такое колдовское кроется в вещах и камнях, окружавших нас в детстве, что они содержат в себе прямо-таки магическое свойство ни с чем не сравнимой исключительности? Откуда у них эта бескомпромиссная жажда того, чтобы после гибели в хаосе войны и на свалках я засвидетельствовал их былое существование?

Всего несколько лет прошло после описанных здесь идиллических времен, а уже приходится позавидовать постоянству мертвых предметов; постепенно – лишаясь людей – они превращались в издевку, а неожиданное осиротение, ненужность опустевших кресел, тростей, безделушек приобретало какой-то чудовищный смысл. Действительно, походило на то, будто предметы соперничали с живыми, более устойчивые, менее зависящие от катастроф времени, словно, только освободившись от своих хозяев, они набирались сил и значения – достаточно вспомнить детские коляски и тазы на баррикадах, очки, сквозь которые некому было смотреть, кучи истоптанных писем. Но хотя они и приобретали в военном пейзаже силу необычных знаков, я никогда не ставил им этого в вину. Я верил в их невиновность. У меня осталась, не нарушенная огнем и временем, бессознательная привязанность к старой фаянсовой сове из книжного шкафа отца, ко льву и тигру, тяжелым, чудесным животным из черненной бронзы, к шахматам, королей и пешек которых с татарскими чертами лица вырезал отцу сосед – русский военнопленный 1915 года, к двум часам-собакам с комода матери, отмечающим время вращением выгаращенных глаз. В банальной, очень мещанской спальне родителей я помню стекло форточки, в котором зияло круглое отверстие с разбегающимися к раме паутинками трещин. Мне рассказывали, что во время боев 1918 года туда влетела пуля; поэтому я, шустрый ребенок, искал на потолке след ее затерявшегося полета, но потолок был гладкий и девственный. Выщерблину заштукатурили. Так мне сказали, но то ли я не мог, то ли не хотел поверить, важно одно: в квартире, столь спокойной, столь обычной, полной сытого мещанского достатка, мои глаза частенько обращались почти под самый потолок, к маленькой форточке, неизвестно почему притягивающей взгляд. Отверстие было небольшое – видимо, заменять стекло было невыгодно, таким оно и осталось на все междувоенное время. Быть может, пробоина тревожила меня, как растревожил Робинзона след босой ступни на берегу необитаемого острова? Нет, я вовсе не считал ее предвестником жестоких времен, просто это отверстие не соответствовало сонной гармонии мебели, этот след поражал, словно какая-то взятая из невозможного деталь, которую человек вдруг случайно увидел перед собой и которая уже самой своей материальностью не допускала и мысли о сомнении. Как же так: выходит, это действительно могло быть, значит, кто-то действительно мог стрелять в окна? В квартиры? А я родился тремя годами позже?

Я должен быть осторожным, чтобы не впасть в преувеличение. Пробитое пулей стекло всегда удивляло, даже, может быть, раздражало, как неожиданный скрежет, но не более, и изумляло не больше, чем капля смолы, сочившейся из рамы того же окна, – я очень любил собирать на палец каждую каплю – постепенно, в течение нескольких дней выплаканную, наконец, деревом сквозь краску – сверху уже немного засохшую, внутри пахучую, смолистую и липкую. Создавалось впечатление, что дерево не хотело примириться со своей судьбой, словно все его невидимое под краской существо еще находилось в лесу, говорило о нем наперекор очевидности рубанка, гвоздей, лака, обеих колец, с помощью которых к раме была прикреплена тонкая рейка шторы. Все это я говорю для того, чтобы придать проблеме простреленного стекла

масштаб.

А что вообще связывало ребенка, ходящего всегда по одним и тем же улицам, с их тротуарами, их стенами? Может быть, дело тут в красоте? Я ее не замечал, не думал, что город может быть другим, то есть не закованным в каменную броню мостовых, холмистым, не подозревал, что перспективы улиц, например, Коперника, Сикстусской, могли бы и не взлетать вверх, трамваи – спускаться вниз или взбираться в гору, я не замечал готической прелести костела Эльжбеты, восточной экзотики армянского кафедрального собора, а если я и поднимал голову, то только для того, чтобы посмотреть, как крутится на трубе жестяной петушок. Удивительно, что я вообще могу усилием идущей против течения памяти возратить невинность таким словам, как «Янув», «Знесень», «Пески», «Лонцного»,^[72] – которым сорок первый и сорок второй годы придали зловещее звучание, когда улицы начиная от Бернштейна и дальше за театр, в сторону Солнечной неожиданно вымерли, захлопали на ветру раскрытые настежь окна, опустели стены, дворики, подъезды, а еще позже появились, а затем исчезли деревянные заборы гетто. Я видел его издалека; вначале пригородную разбросанную застройку, потом уже только заросшие травой развалины. Но в тридцатые годы никто не мог этого предвидеть. Правда, и в то время бывало по-разному. Я видел с балкона нашей квартиры, прячась за его каменным барьером, стычки атакующей конной полиции с демонстрантами, это было во время похорон Козака; под скрип железных жалюзи, с помощью которых купцы пытались спасти стекла своих витрин, видел, как слетает с коня полицейский в блестящей каске, но это было словно неожиданно налетевшая буря. Буря прошла, и, когда дворники убрали с брусчатки разбитые стекла, опять вернулся покой, благодарные пациентки-монашенки приносили отцу из своего сада огромные букеты сирени, которую клали под струю воды в ванне, на «Веселой львовской волне» передавали диалоги Тоньца с Щепцем или прерываемые кашлем потешные монологи пана Строньца, а я заявил родителям, что не пойду в гимназию, поскольку там надо носить гольфы, а я это делать не могу, так как они щекочут под коленками. Мы были, теперь это известно, подобны муравьям, энергично копошащимся в муравейнике, над которым уже занесен сапог. Некоторые, как им казалось, улавливали его тень, но все, а стало быть и они, до последних минут с рвением и запалом продолжали суетиться вокруг тех же самых дел, стремясь обеспечить, смягчить, освоить будущее. Взрослые и дети, все мы были равны в благословенном неведении, без которого невозможно жить.

А ведь мы готовились. Обычно мы ходили в гимназию в мундирах, а один раз в неделю были уроки ВП – военной подготовки. В эти дни мы были обязаны являться в соответствующей форме. Она состояла, собственно, только из зеленой полотняной рубахи, надеваемой через голову наподобие обычной русской гимнастерки. Кто мог, прикручивал на грудь харцерские значки, стрелковые отличия; что касается меня, то, изведя на стрельбище у Высокого Замка уйму патронов, я перед экзаменом заработал золотой значок, но недолго смог им похвалиться – надвигалась война.

Рубаху полагалось идеально расправлять спереди и перехватывать широким ремнем. У некоторых были великолепные ремни с двойной пряжкой и многочисленными дырочками; я тоже достал себе такой; он даже был подбит тонким фетром, и были у него латунные тренчики для того, чтобы пристегивать перекинутый через плечо офицерский ремешок, носить – который я, конечно, не имел права. Вся беда в том, что для такой рубахи нужна была стройная фигура, как, например, у Л., которого можно было обхватить в талии четырьмя пальцами, – ни следа выпирающего зада, иначе собранные сзади складки торчали, словно распушенный хвост, превращая гимнастерку в юбку. Меня это весьма смущало.

Командиром рати был профессор Стажевский, историк, офицер запаса, но он присматривал за нами сверху, а стало быть, и издалека. Обычно нами занимались несколько строевых унтер-

офицеров, приходивших из города и частенько приносивших с собой таинственные свертки с покрытыми военной тайной предметами: например, маленькими флакончиками, из-под пробок которых пробивался еле ощутимый запах отравляющих газов, смягченный до безопасности в этой аптечной упаковке. Нам давали нюхать фосген, хлорацетофенон и другие невидимые отравы со столь же грозными названиями. На учениях нам выдавали и противогазы; до сих пор я помню их неприятный резиново-брезентовый запах и вкус, дышалось в них с трудом, судорожно, но ведь это была игра.

Однажды на площадке зажгли дымовые шашки и сержант бросил гранату со слезоточивым газом. Облако понесло на школьного сторожа, и он вынырнул оттуда, истекая слезами. У унтер-офицеров была с нами масса хлопот. Мы втихую подсмеивались над ними, впрочем, добродушно, частенько повторяли различные их оговорки – капрал Лелявый, например, носил совершенно другую фамилию, мы окрестили его этим прозвищем после того, как на одном из уроков он в драматических тонах описал нам, каким «лелявым» становится человек, наглотававшийся фосгена.

В микроскопическом арсенале нашей гимназии были собственные винтовки, в основном лебели, почитай, 1889 года. Это было архаическое, хоть и многозарядное ружье, длинное и тяжелое, патроны вкладывались один за другим в канал, просверленный в ложе под стволом, замки мы разбирали и собирали несметное число раз, много было муштры, а изредка мы даже получали по физиономии – разумеется, уже за городом, где-нибудь в Кайзервальде, куда нас отводили, выстроив в колонны.

Стволы наших винтовок были раскалиброваны, никакого боевого значения это оружие не имело, с таким же успехом можно было пользоваться выструганными в форме винтовок досками, но усомниться в качестве оружия считалось, пожалуй, государственным преступлением. При скверной погоде мы проводили эти два часа в классе за чисткой оружия, заваленные паклей и вымазанные вазелиноподобным тавотом. Это был труд одновременно и данаидов и сизифов. Познакомились мы также с методами проверки качества нашей работы – спичкой, заточенной, как иголка, сержант тщательно ковырял вокруг винтов приклада, между деревянным ложем и стволом; в конце концов всегда можно было найти какую-нибудь микроскопическую щелочку, которая испачкает кончик спички, и все приходилось начинать сызнова. Но это как-то не очень злило – словно мы понимали, что таковы правила игры, что именно на этом и стоит армия.

Во втором классе лица мы уже ходили на стрельбы из настоящих винтовок, не лебелей; там царил фронтальная атмосфера. К этим стрельбам мы готовились так долго, карабины Маузера, состоявшие на вооружении, нам не давали пощупать почти до последнего момента, боевые патроны, выделяемые уже на бетонированных позициях, выдавали с такой таинственностью, осторожностью и бухгалтерской скрупулезностью, что в конце концов винтовка превращалась в оружие прямо-таки титанического значения, огневой мощи которого не может противостоять ничто, в редкостный и точнейший инструмент, которым обладала мало какая армия мира. Я не утверждаю, что нечто подобное нам внушали, – просто в результате всего долгого священнодействия возникало в конце концов такое ощущение.

Впрочем, честно говоря, тут играла роль атмосфера стрельбища, бетонные позиции, сильная отдача, которой награждало ружье, если не прижать его как следует прикладом к плечу; каким незначительным в сравнении с боевой винтовкой был спортивный карабин, из которого мы иногда постреливали в гимназии! Даже репетир Юлека Д. терял свою привлекательность.

Забавно, что сознание конечной цели, для которой предназначена винтовка, до нас, или, во всяком случае, до меня, да, пожалуй, и до других, в принципе не доходило. Правда, мишенями на стрельбище были уже не невинные спортивные кружочки с черным яблочком посередине, а

достаточно красноречивые бледно-зеленые силуэты, с каской на голове и белым пятном лица, но ведь и эта цель была чисто условной. Требовалось попасть, а не убить – об убийстве как-то не говорили. Даже тогда, когда шло обучение штыковому бою. Я этого не любил. Вместо винтовок мы пользовались длинными жердями, лишь грубо имитирующими винтовки, торчащие концы которых были обернуты паклей, обвязанной тряпками, так что получалось нечто вроде твердого матерчатого кулака. Основная стойка была нескладная: на широко расставленных, очень низко согнутых в коленях ногах; мы сражались друг с другом, а иногда с сержантом – большим мастером штыкового боя – или же кололи огромные тряпичные куклы, немного напоминающие увеличенные портновские манекены. Показывал нам сержант, куда и каким образом следует колоть, – его тут же втягивали в посторонние разговоры о тех или иных видах штыков, о польском – плоском, о русском четырехгранном; после укола при определенных обстоятельствах следовало «покрутить», чтобы у пораженного врага внутренности перемешались.

Наконец, но уже совершенно теоретически, сержант показывал нам, что можно сделать обыкновенной саперной лопаткой, какое это изумительное оружие, если садануть им человека в основание шеи, потому что при удаче можно отхватить все плечо; только, упаси боже, не следует целиться в голову, ибо на ней обычно сидит каска и лопатка отскочит.

Показывали нам также способы отражения штыковых атак именно такой лопаткой; мы бросали гранаты, то есть болванки, а потом опять долгие часы не покладая рук чистили лебели. Однажды при совершенно необычных и особых обстоятельствах мы отправились с ними в город.

Это было после смерти маршала Пилсудского, вечером. Не знаю, почему именно в эту пору. Мы долго маршировали, и все время в положении «смирно», так что руки замлели от тяжелого лебеля, прижатого к самому поясу; мы шли центральными улицами, через Мариацкую площадь, где, кажется, неподалеку от памятника Мицкевичу, тогда в темноте невидимого, стоял одинокий небольшой постамент с каменным бюстом, перевязанным только черной лентой, освещенный откуда-то сверху прожектором, а мы под траурный, заполняющий, казалось, весь город, угрюмый грохот барабанов, шли, изо всех сил колотя по брусчатке ногами. Был тридцать пятый год.

За три года военной подготовки нам ни разу не говорили о том, что существует что-либо похожее на танки. Как будто их и не было. Да, нас учили всевозможным газам и названиям частей оружия, и уставам, и караульной службе, и местной тактике, и множеству иных вещей; в общем за год набиралось что-то около ста часов, и триста в последних классах. Но все это выглядело – теперь я это вижу – так, словно нас готовили на случай войны вроде франко-прусской 1870 года. Мы не были частицей армии – ведь мы не входили в ее состав, – нет, мы были лишь намеком на такую частицу. На сколько же тысяч и десятков тысяч надо было бы помножить это вошедшее в систему анахроничное, никому ни на что не нужное школение, чтобы стал ясен масштаб этих изнурительных подготовок, этих работ, бесчисленных усилий людей в мундирах, направленных в ничто! Поражение заслонило все, но я и сейчас не могу спокойно, без тоскливого изумления подумать об этом пропавшем труде.

Последние летние каникулы перед выпускными экзаменами я провел в военно-подготовительном лагере в Делятине. Там было как в армии на маневрах: мы жили в палатках по восемнадцать человек над высоким, обрывистым берегом Прута, со всем, как положено, – утренней побудкой, муштрой, полевыми занятиями, обедами из котла, тактическими учениями и вечерней поверкой. Впервые я оказался абсолютно вне семьи – никто, кроме командиров отделений и унтер-офицеров, за мной не присматривал. Нам сразу же дали понять, что нас

рассматривают как взрослых военных людей, ибо капитан предостерегал от контактов с женским населением, поскольку среди гуцулов пошаливал сифилис.

Учился я в то время многому, в том числе и функционированию механизма власти. Когда пришла моя очередь и я стал дежурным унтер-офицером, я утром отправился к шефу-сержанту, чтобы получить приходящуюся на мою палатку порцию мармелада к хлебу; сержант откroил себе громадный кусок малинового вещества и вручил мне остальное; я же, возвращаясь, понял, что следует делать мне, и, в свою очередь, по собственной инициативе отхватил изрядную толику.

Под конец учений были проведены большие маневры в присутствии наблюдателя из самой Варшавы, какого-то майора; он показался нам величиной совершенно недостижимой. Чтобы избежать хлопот, связанных с ношением лопатки, которая во время перебежек была по заду, я воспользовался тем, что такие лопатки были не у всех, и прикинулся, будто тоже не получал ее, сам же, по совету благоволившего ко мне командира отделения, спрятал лопатку в матрац. Она, разумеется, немедленно исчезла, потом за нее пришлось платить. Но я по крайней мере избежал трудов по окапыванию; я неплохо справился со своим лебелем, так как, послушавшись совета сидевшего во мне гражданского духа, раз навсегда вычистил до зеркального блеска внутренность ствола и заткнул его небольшой, незаметной пробочной, чтобы во время бесконечных прыжков и падений туда не мог попасть песок. Таким образом, во время чистки оружия я драил его только снаружи, а при осмотре в соответствующий момент украдкой вынимал пробку.

Хуже получилось у моего товарища, Мечика Р., которого во время перерыва в больших маневрах по каким-то причинам заметил сам пан майор и приказал сначала продемонстрировать выполнение операций по программе «Первая помощь при отравлении газами», а потом закричал: «Тревога!» Мечик побледнел, но, сопровождаемый бдительным взглядом всех чинов, в конце концов вынужден был открыть жестяную коробку, в которой вместо маски оказались яблоки и сладости. Маску, как и лопату, он спрятал в матрац. Последствия должны были быть жуткими – вплоть до неудовлетворительной оценки по ВП, – но потом все как-то обошлось.

Сами маневры я помню как великое бегание и стрельбу холостыми патронами, причем поднимали нас в четыре часа утра. Я заметил, что в эту пору суток мир в июне невероятно прекрасен, и даже пообещал себе, что в гражданке обязательно буду приветствовать его столь же рано. Впрочем, это так и осталось благим намерением. Наползались мы сверх меры, и никогда не было известно, где находится так называемый неприятель, так что на всякий случай мы стреляли во все стороны. Потом куда-то запропастился головной дозор, потом встреченная случайно гуцулка, покрутившись около нас, неожиданно кинулась на шею командиру отделения и выхватила у него винтовку – оказалось, это был один из капралов, переодетый до неузнаваемости и демонстрировавший нам таким образом военные хитрости.

Кажется, мы победили, хотя полностью я в этом не уверен. Еще несколько раз нас по тревоге поднимали с матрацев посреди ночи; причем, если все шнурки не были как следует продеты в отверстия ботинок, отделение возвращали под одеяла; однажды нам пришлось раздеваться и одеваться в рекордном темпе раза четыре. Но лучше всего я запомнил, что в армии беспрерывно что-нибудь дряят – если не винтовку, то ботинки, если не ботинки, то полы (полов в палатках не было, и драение в данном случае носило чисто символический характер).

Собственно, в то время я впервые столкнулся вблизи, когда у нас бывали выходные, со страшной нуждой, царившей среди гуцулов. За пять грошей или за кусок хлеба можно было получить манерку малины или земляники, и при этом еще ее расхваливали. Делятин стоял несколько в стороне от таких центров туризма, как Татры или Яремчи.

Несколько дней мы работали в воде на строительстве моста, сорванного вспухшей рекой. В

то время я загорел, как негр. Наконец пришел конец этой игрушечной воинственности, остались позади все ритуалы с подбрасыванием поручиков и унтер-офицеров, причем менее любимым, которые сидели у нас в печенках, мы подставляли кулаки вместо раскрытых рук.

За одним из поручиков, поросычье-розовым блондином, красневшим на солнце так, словно его вот-вот должен был хватить удар, мы гонялись по всему лагерю – он пытался выкрикивать сдерживающие нас команды, но наше уважение перед чинами лопнуло, дисциплина неожиданно развалилась, и поручику ничего не помогло – он-таки взлетел на воздух.

Винтовка меня удивительно распрямила, и я даже похудел.

В последний день был вечерний костер с песнями, пир с газированным лимонадом и непропеченными пончиками, а наутро нас погрузили в вагоны. По пути во Львов ко мне подсел один из преподавателей, подхорунжий, [\[73\]](#) которому я был просто-таки невероятно симпатичен, более того, который, оказывается, все время восхищался мною; сердечность, да что там, уважение (совершенно неизвестно за что), выказываемые мне почти что офицером, меня совершенно отуманили. Поэтому, когда выяснилось, что подхорунжему нравятся мои ботинки (у меня было две пары), я немедленно расстался с ними – только сначала не знал, как бы ему эти ботинки подарить, чтобы он не обиделся: все-таки почти офицер! К счастью, он сам облегчил мне дело и, держа их за шнурки, тут же исчез. А поезд уже подходил к перрону, под огромный купол Главного вокзала, где ждали истосковавшиеся родители.

Когда я был маленьким, никто не умирал. Правда, я слышал о таких случаях, впрочем, как о падении метеоритов. Каждый знает, что они падают, это случается, но какое это имеет к нам отношение? Однажды, в ночь между двумя дождливыми днями в Закопане, мне снился отец. Не такой нечеткий, туманный, неопределенного возраста, каким я могу себе его представить наяву, а в конкретном времени, живой. Я видел его серые, еще неутомленные глаза под очками, короткие усы, подстриженные над губой, небольшую бородку, руки с коротко обрезанными ногтями, постоянно натираемые щеткой руки врача, с золотым кольцом, потончавшим от ношения, складки на жилетке, пиджак, немного оттянутый с правой стороны тяжестью ларингологического зеркала, а в глубине квартиры – обои, старую высокую печь из белого, покрытого мелкими трещинками изразца, тысячи других мелочей, которые, проснувшись, я не мог даже назвать. Все это во мне, недоступная толпа воспоминаний, череда минут, часов, недель, лет – и никто, кроме сна, над которым я не властен, не может туда проникнуть. Где-то там есть Стрыйский парк, весь в снегу, и отец, прогуливающийся по аллейке черных деревьев, страшно замерзший, засунувший руки в карманы пальто, а я – впервые на лыжах, едва двигаю ногами, воображая себя владыкой бескрайних просторов. Стук копыт, неожиданно пригложший на деревянной брусчатке Маршалковской перед Университетом Яна Казимира, протяжный, бьющий в окна класса плакучий скрежет трамвая, сворачивающего около нашей спортплощадки в своем трудном восхождении к Высокому Замку. Поручни всех лестниц, с которых я съезжал, клетчатые гольфы моего однокашника Лозы, самые длинные в классе, зеленые локомотивы с Восточной ярмарки и все каштаны. Медный котел для воды с кухонной печи, желуды на потолке спальни, толкучка с железками, на которой я разыскивал сокровища, и даже первая кровать – белая, с боковой сеткой. Корабль-загадка, который каким-то чудом заплыл через узкое горлышко в бутылку, и первая легальная папироса марки «Нил» с красным бумажным мундштуком, которую я закурил после экзаменов в июле 1939 года. А ведь какие лавины обрушились на этот мир! Как могли не стереть его в порошок, не уничтожить последние его следы? Для кого они, собственно, существуют, от кого их так бережет память, недоброжелательная, только ночью, только в беспомощности сна, перед ним, слепым, открывающая настежь свои сокровищницы, непокорная и скупая наяву, дающая обрывочные, недосказанные ответы, которые вначале требуется старательно расшифровать, преоборов ее

упорное молчание, смириться, если какой-либо – силой вырванный из нее, как бы украдкой вынесенный – осколок, цветное пятнышко, контур чьих-то губ, тень, звук, ничего не объясняют, несмотря на подсознательное ощущение, что это было связано с чем-то важным, что там когда-то прошла судьба, а сейчас есть только пустота, глухая, невидимая стена; тут ничего не поделаешь! Что за скарედность, что за безразличие памяти, которая ведь все знает и может, а не поддается, упрямая, презрительно замкнувшаяся в себе, игнорирующая течение времени, не зависящая от него. Если б она хоть действительно была пустырем, редко засеянным сборищами угасающих образов, но нет, это наверняка не так, есть тому доказательства в снах – а она всегда допускает не туда, куда бы я хотел, не тогда, когда мне это необходимо, никогда – тупо захлопнувшийся механизм, независимый в своем сумасшедше точном исполнении задачи: сохранять, закреплять неизменно и навсегда. Навсегда? Но ведь это неправда: ведь она погибнет вместе со мной, неподкупный страж, скряга, закостеневшая в тирании, в непослушании, в язвительной строптивости, столь постоянная и столь непрочная одновременно, сентиментальная и в то же время равнодушная, словно пласт угля, в котором оттиснулся лист. Как ее понять? Как с ней согласиться? Нейронные сети, синапсы, петли Мак-Куллоха? Нет, не объясняйте ее столь мудрым, столь смешно ученым образом – это ни к чему, пусть уж все останется так, как есть. Мы представляем с ней как бы пару косящихся друг на друга лошадей, которые тянут один и тот же воз. Так иди же вперед, моя неразлучная, моя незнакомка, подруга, мой враг, мой друг.

Закопане. Июль 1965 года.

Репутация превыше самой очевидной реальности. Она не считается ни со стремлением человека казаться чем-то иным, ни порой даже с тем, что он собой представляет в действительности. Хуже того, она по характеру своему способна давать лишь весьма упрощенное, одноцветное представление о человеке, игнорируя, как правило, богатую палитру красок его сложной натуры.

Если вы снискали репутацию остролова, то все будут выжидательно улыбаться, слушая ваш рассказ о сугубо мрачных, казалось бы, вещах. Как ни расписывай свои страдания или прискорбность какого-то там случая, сочувствия все равно не жди: мыслеприемники окружающих уже заранее настроены на шутливую волну. И наоборот, самая смешная история выслушивается в гробовом молчании, если аудитории давно известно, что рассказчик на них не мастер.

Особенно плохо приходится в этом смысле писателям, вообще людям, сопричастным искусству. Какой бы замысловатый, чисто развлекательный детектив ни сочинил автор романов, снискавших репутацию «философских», все равно читатель – весь ожидание: что там, за новым поворотом?.. Станислав Лем имеет прочно установившуюся репутацию писателя-фантаста. Мало того, его имя вот уже второе десятилетие неизменно фигурирует среди наиболее известных фантастов мира. Открывая книгу, на обложке которой значится это имя, читатель заранее настраивается на XXI век или мысленно садится в кресло космонавта, готовясь к межзвездным путешествиям. На худой конец допускаются экскурсии в несколько более туманные и потому менее занимательные сферы футурологии, даже обращение к таким далеким от приключений сюжетам, как, например, проблема смысла жизни человека или смысла существования человечества. На это автор «Суммы технологии» – философского трактата, который недавно вышел на русском языке, – завоевал право. Но уж дальше начинается, говоря языком гоголевских героев, сплошной реприманд неожиданный.

А между тем писатель-фантаст – прежде всего писатель. И как всякий писатель, он не только вправе, но, наверное, просто обязан обращаться к таким темам, которые в данный момент больше всего затрагивают струны его сердца. Даже если эти темы несколько неожиданны для его уже сложившейся писательской репутации.

Мы знаем Алексея Толстого как автора не только «Хождения по мукам», но и «Аэлиты». Герберт Уэллс известен главным образом как фантаст. Но его перу принадлежат также менее знакомые широкому читателю великолепные реалистические романы, воскрешающие Англию конца Викторианской эпохи, написанные с трогательной теплотой диккенсовского юмора. Для многих почитателей его таланта знакомство с этими романами, как и для меня в свое время, явилось, можно сказать, вторым открытием Уэллса. Наконец, Рэй Брэдбери – автор и научно-фантастического романа «451° по Фаренгейту» и автобиографической повести «Вино из одуванчиков».

Ну, а Станислав Лем?

Должен сознаться, что я приступил к «Высокому Замку», всецело настроенный на «Магелланово облако» или «Солярис». Что поделаешь? Стереотипы есть стереотипы. Прочитав несколько страниц, убедился, что речь пойдет не об иных веках и мирах, а о старой, довоенной Польше 20-30-х годов и не о марсианах, а о карапузе, затем школьнике, из которого впоследствии образовался уже известный нам автор «Соляриса». И хотя мир этого карапуза, как и всех мальчишек на свете, был посложнее иного марсианского (и уж, во всяком случае, не менее любопытный), я все еще долго ожидал если не фантастики, то чего-нибудь вроде нового

слагаемого «Суммы технологии». Велика сила стереотипа!

А потом были забыты и фантастика, и футурология, и все иные материи, кроме той, о которой шла речь. Обычно автобиографические повести – это прежде всего средство показа социальной среды, в которой вырос писатель. Так было у М. Горького. Так было в значительной мере у Г. Уэллса. С. Лем подошел к той же теме под несколько иным углом зрения. Его интересует прежде всего внутренний мир ребенка, подростка, юноши, особенности этого мира, процесс его становления и постепенного перерастания во взрослый мир. Все остальное рассматривается сквозь призму именно этого мира.

Писатель избежал соблазна дать развернутый психологический трактат с обязательным в таком случае анализом психологии ребенка, как она рисуется взрослому. Он не анализирует. Он вспоминает и размышляет. И постепенно втягивает в свои размышления читателя. Вместо путешествия к иным звездным мирам каждый читатель незаметно для себя оказывается в совершенно другом мире чудес – в мире своего собственного детства.

Мне не хотелось бы быть понятым так, будто я преуменьшаю значение научных трактатов на подобного рода темы. Нет, по моему убеждению, еще не написанная «Сумма мальчишкологии» ничуть не менее важна и интересна, чем «Сумма технологии». Но согласитесь, что перенести читателя в мир детства – задача, посильная только искусству. С. Лем отлично справляется с ней, размышляя вместе с читателем о таких вещах, с которыми, вероятно, столкнулся в своем детстве каждый, особенно если у него, подобно автору, было достаточно сильно развито воображение.

Размышления настраивают на философский лад. Но автор окрашивает их какой-то особой, ему одному свойственной тональностью, придающей повествованию местами, я бы сказал, лирический характер. Получается что-то вроде философско-лирических новелл.

Философская лирика? А почему бы и нет!

Не стану разбирать здесь подробно содержание «Высокого Замка». Не стану и сопоставлять его с «Вином из одуванчиков» Рэя Брэдбери, хотя обе автобиографические повести выдающихся фантастов дают немало материала для сравнений.

Хочется, чтобы читатель тоже страницу за страницей сам открывал для себя нового Лема, для нас во многом еще незнакомого и удивительного. И чтобы каждый с его помощью сам совершил путешествие в собственное детство. Вернее, с помощью писателя увидел бы свое детство иначе, чем обычно вспоминаешь и тем более рассказываешь о нем.

Мир нашего детства... Это прежде всего мир поразительно иных измерений пространства и времени.

Замечали ли вы, оказавшись спустя много лет в местах, где выросли, что ваш необозримый космос съезжился вдруг до огорчающе мизерных масштабов? Бескрайние джунгли парка обернулись десятком аллеек среди довольно скромных древонасаждений. Двор, не уступавший по площади и богатству рельефа целой Швейцарии, предстает теперь весьма невзрачным «пяточком». Даже комнаты старой квартиры, даже старая мебель в ней (если она еще сохранилась) не имеют ничего общего с теми залами и гигантскими сооружениями из дерева, металла, стекла, которыми, казалось бы, были всего несколько лет назад.

А время? Конечно, из учебников известно, что относительность его течения может быть заметной только при субсветовых скоростях. Но, говоря фигурально, каждый сталкивается с этим феноменом в повседневной, обыденной жизни.

Делать нечего. Одолевать скуку. И время тянется до отчаяния медленно. Порой даже вообще останавливается и не дает убить себя никаким доступным способом.

Но вот находится интересное дело. Остановись, мгновение! Не тут-то было! Скашивая глаза на часы, видишь, как по циферблату все скорее начинает ползти не только секундная, но и

минутная, и даже, кажется, часовая стрелка. Солнце зримо движется по небу и, миновав точку зенита, мячиком катится за горизонт.

Одна-две прочитанные книги средних размеров или десяток-другой страниц исписанной бумаги – и уже далеко за полночь, хотя утром казалось, что успеешь еще сделать и то, и другое, и третье. Две-три недели такой жизни – и в один прекрасный вечер начинается паника. Подсчитываешь, что согласно исчисленной средней продолжительности жизни человека тебе осталось лет двадцать (или тридцать, все равно) на все задуманное, желанное или хотя бы желательное. Переводя оставшиеся годы на число страниц, имеющих быть прочитанными и написанными, можно рассчитать с точностью до сотого знака, сколько книг успеешь прочитать и сколько написать. При всех, даже явно завышенных, подсчетах получается, что прочитана будет ничтожная доля желаемого (не считая того, что еще выйдет в свет за эти годы!), а написано и того меньше. К тому же сознаешь, что всяческая суэта издевательски перечеркнет самую урезанную программу-минимум.

И с тоской вспоминаешь раннее детство, когда в сутках, безусловно, было по 60 часов, а в каждом часе не меньше чем по 3600 минут. Еще до ухода в детсад проходила целая вечность, заполненная бурными историческими событиями – и «войной» с соседом, и «восстанием» против законной родительской власти, и заслуженной карой, и всеобщим миром, и снова «войной». При этом неведомо каким образом в то же самое время велась увлекательная игра (преимущественно в выдуманном мире собственного творения), перелистывалась масса книг, содержание которых запоминалось от корки до корки, ставились рискованные опыты алхимического характера – словом, жизнь была ключом сразу во всех четырех измерениях. А уж день целиком по богатству событий не уступал нынешнему году, и к вечеру бурное утро, затуманенное далью времен, вспоминалось с великим трудом.

Как возвратиться к космическим масштабам пространства и времени тех лет? (Разумеется, не с помощью безделья и скуки, «останавливающих» время.) Как раскрыть секрет долгожителей детского и отроческого возраста, не уступающий по значению находке пресловутого философского камня?

Не знаю, может быть, мои размышления, навеянные чтением «Высокого Замка», не вполне совпадают с ходом мыслей автора. Но книга эта такого рода, что каждый читает ее по-своему, воспринимая содержание через призму собственного детства. Возможно, в этом как раз и проявляется ее художественная ценность.

Только трижды на протяжении книги С. Лем позволяет себе прямое возвращение из мира своего детства в сферы, близко соприкасающиеся с современным ему миром.

Он снова и снова задается вопросом, не напоминают ли некоторые явления модернистского искусства платье андерсеновского Голого Короля. Это не анафема, не ярлыки и не рецепты. Это просто раздумья человека, ясно видящего, что нарисовать абстракционистскую картину или написать современный антироман при известной доле самоуверенности вполне способен за очень короткое время каждый желающий. С другой стороны, не менее ясно, что застывшее, не развивающееся искусство – это агония. Без постоянного поиска, опытов, споров настоящее искусство развиваться попросту не может. Как отличить воинствующую халтуру, подбадриваемую модой, от самоотверженного поиска, пусть иногда даже неудачного?

Мысли по поводу такого рода вопросов интересны для каждого человека, неравнодушного к искусству. Вдвойне интересно мнение на этот счет писателя, немало размышлявшего о путях дальнейшего развития литературы и искусства. Прочитайте хотя бы статью С. Лема «Куда идешь, мир?» в журнале «Иностранная литература», где он ставит проблему облика культуры завтрашнего дня, «вращенной на обломках индивидуализма, земного универсализма». (Здесь речь идет, разумеется, о буржуазной культуре.) В воображаемом мире не так уж далекого

будущего с его, может быть, двадцатью миллиардами людей высокой культуры, по его словам, ценных книг, произведений искусства, музыкальных произведений, решений и новых теорий будет возникать просто чересчур много, чтобы даже самый завзятый потребитель культурных ценностей мог справиться с такой лавиной. Ни прожорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственного контакта с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов, Ферми. Может быть, спрашивает в заключение Лем, поэтов будут читать лишь поэты, художники творить для художников, а музыканты – для музыкантов?

А не получится ли так, что новоявленные гении вообще не сумеют пробиться к людям через энергичные шеренги потомков Феофана Мухина, Никифора Ляписа-Трубецкого и других героев И. Ильфа и Е. Петрова, потомков всегда подающего надежды композитора Керосинова (помните кинофильм «Антон Иванович сердится»)? Ведь им не было, нет и никогда не будет равных в искусстве работать локтями...

Мы с вами знаем по научно-фантастическим романам Станислава Лема о его большом оптимизме. Но этот оптимизм не бездумен.

И такой поворот темы тоже заслуживает внимания.

Другое такое же, не столько лирическое, сколько философское, отступление Лема связано с его новеллой о созданном им в тоске гимназического классно-урочного сидения Мире, где царствует Удостоверение. У мальчика вдруг прорезалась страсть к брошюрно-переплетным работам (это бывает не только с мальчишками), но, подкормленная различными удобрениями – от житейских наблюдений до псевдоисторических романов, – породила не только увлечение шрифтами, обложками, всеми аксессуарами профессии будущего художника книги, а и страшный культ Бумаги, Которая Может Все.

Для буржуазного мира, где, по давнему чиновничьему откровению, «без бумажки человек букашка», возможность расцвета бюрократической идеологии «удостоверизма», как ее именует писатель, не такое уж фантастическое предположение. Нет, трудно все-таки С. Лему долго оставаться в позиции автобиографа! Пристрастие гуманиста, роднящее его с автором «451° по Фаренгейту», красной нитью проходит и через эту книгу.

Сказанное относится и к последним разделам книги, где Лем вспоминает себя в лагерях польских допризывников кануна второй мировой войны. Это был в его жизни последний полустанок на пути из отрочества в юность. Чуть позже, уже за пределами «Высокого Замка», мы встречаем Станислава Лема в рядах польского движения Сопротивления. Но об этом лучше всего рассказывает его первая книга, опубликованная в 1955 году, – «Непотерянное время», роман о годах фашистской оккупации и становлении народной Польши.

Примерно таким же образом кончилось отрочество многих других ребят – сверстников Лема. Здесь – каждый из них тоже, видимо, совершит вместе с писателем путешествие в свои юные годы.

И еще одна башня «Высокого Замка» – пожалуй, краеугольная: юмор, воскрешающий в памяти уже упоминавшиеся автобиографические романы Уэллса. Ироническая улыбка автора сопровождает маленького Станислава во всех его подвигах и злоключениях, придавая им совершенно непередаваемую лирическую окраску. В заключительных новеллах лемовский юмор прямо-таки всецело царствует и управляет. Это особенно располагает к рассказчику, ибо совсем не просто с иронией повествовать о самом себе, даже ссылаясь на несовершеннолетие и на то, что речь идет о делах тридцатилетней давности.

Что это? Общая черта всех талантливых фантастов, обращающихся к живописанию собственной персоны? Или знаменитый польский «гумор», категорически воспрещающий рассказывать о себе иначе как в ироническом наклонении? Или, может быть, просто

немыслимость для С. Лема вообще писать о таких вещах без доброй и умной улыбки?

Оставим эти вопросы будущим лемоведом.

И. Бестужев-Лада, доктор исторических наук

Он живет в небольшом стандартном доме на дальней окраине Кракова. Он очень ценит покой, позволяющий ему сосредоточиться. В углу валяется заброшенный киносъемочный аппарат: одно время писатель увлекался фотографией и кино, но потом решил, что это отнимает у него слишком много времени. А все свое время он отдает работе. Когда же он очень устает или хочет повидать свет, он садится за руль своей машины, выезжает на шоссе Краков – Закопане, проходящее неподалеку от его дома, и отправляется, в зависимости от настроения, либо к центру города, либо в горы.

Он небольшого роста, с быстрыми движениями и веселыми темными глазами. Часто усмехается, а говорит так стремительно, что едва успеваешь следить за его мыслями. Но хотя он следует за мгновенно возникающими ассоциациями, он в то же время очень обстоятелен, а фразы его так точно сформулированы и отточены, что кажется, будто он просто вслух читает какую-то книгу.

– Видите ли, научная фантастика совсем не пророческая литература, как иные ошибочно думают. Предсказания научных и технических достижений неминуемо обречены на поражение. Даже Жюль Верн кажется нам сейчас очень архаичным. Что же тогда говорить о сегодняшнем дне, когда невозможно предвосхитить все вероятные качественно новые скачки, которые совершаются в жизни человечества благодаря успехам науки! Фантастика скорее похожа на гигантскую и могущественную лупу, в которую мы рассматриваем тенденции развития – социальные, моральные, философские, которые мы усматриваем в нашем сегодняшнем дне. В сущности, говоря о будущем, о жизни на далеких планетах, я говорю о современных проблемах и своих современниках, лишь облаченных в галактические одежды.

В наши дни, для того чтобы заниматься научной фантастикой, мало одной фантазии, нужно еще очень много знать!

Лем обводит руками комнату, словно пытается обнять все книги, которые, кажется, скоро выживут из кабинета своего хозяина – сотни, тысячи книг на многих языках по истории и методологии науки и по самым диковинным ее разделам; книги теснятся на полках, лежат на столах, нераспечатанными пачками сложены на полу. Кибернетика, астронавтика, биохимия, биофизика, теория информации, молекулярная биология, бионика, генетика, фантоматика, радиоэлектроника, семиотика, парапсихология! В это мгновение кажется, что за окнами домика зажигаются не тусклые уличные фонари, но вспыхивают метеоры, кометы и взрываются дальние галактики. Лем хитро и весело улыбается, словно мудрый маг, занимающийся волхвованием, или престиджитатор, показывающий сложный фокус, в котором все зависит от ловкости рук и умения фокусника отвлечь внимание зрителей от того, что он делает.

– Всех этих наук не существовало, когда я был мальчиком. Когда я писал свою философскую книгу «Диалоги», о кибернетике было написано всего лишь около шестидесяти книг. Из них я – не хвалясь могу сказать – прочел половину. Ныне об этой науке написаны целые библиотеки!.. Для некоторых писателей научная фантастика представляет собой нечто вроде чистой игры ума, интеллектуального кроссворда, а не один из разделов литературы. Меня же интересует другое – сами люди и. проблемы, волнующие человека наших дней.

– Но почему же вы, интересуясь главным образом сегодняшним днем и своими современниками, пишете о далеком будущем и о других, нечеловеческих мирах?

Лем усмехается.

– Давайте вместе еще раз перечитаем или хотя бы перелистаем мои книги!

Станислав Лем – один из известнейших писателей-фантастов мира. Он пишет лирические стихи, статьи, рассказы, повести и романы, а также философские трактаты, в которых привычные философские понятия излагает на языке кибернетики и теории информации, отчего они приобретают совершенно новое звучание. Его переводят на множество языков, по его произведениям ставятся кинофильмы. А он с неистовой страстью и поразительной фантазией продолжает писать, выпуская книгу за книгой – иногда по несколько книг в год!

Он родился во Львове в 1921 году, здесь учился, здесь же пережил тяжкие годы немецкой оккупации. Фашистский террор лишил польскую интеллигенцию права на труд по специальности, и Станислав Лем вынужден был бросить политехникум и пойти работать сварщиком. Он говорит в шутку, что эта профессия ему нравится больше, чем профессия писателя, и он не раз думал вернуться на производство. Работа столкнула его с реальной жизнью, и он впервые встретился с настоящими людьми, будущими героями его первой книги – молодыми рабочими-подпольщиками, участниками польского Сопротивления.

После войны вместе со всеми поляками, проживавшими на территории Западной Украины, Лем репатриировался и переехал в Краков, где смог закончить свое образование. На этот раз он выбрал медицину и некоторое время работал врачом-практикантом.

Больше всего оказал на Лема влияние доктор Хойновский, основавший в Кракове после войны студию науковедения. Под его руководством Лем изучал историю и методологию науки. Это позволило ему смотреть на многие научные проблемы, так сказать, «с птичьего полета». Особенно увлекся он историей людей, которые совершали перевороты в науке. Через руки Хойновского проходили все иностранные книги, которые выписывались из-за границы для комплектования польских научных библиотек. И Лем стал черпать материал не из популярных книг, но из «первых рук», в трудах ученых-созидателей, где ощущаешь дыхание подлинного научного творчества.

Писать Лем начал рано. Уже с 1946 года в печати стали появляться его рассказы и стихи. Первым крупным произведением был роман «Непотерянное время», посвященный судьбам польской молодежи в трагические годы оккупации. В 1950 году выходит первый фантастический роман «Астронавты».

Роман «Астронавты» посвящен межпланетной экспедиции на Венеру в 2006 году. В нем Лем впервые дал полную волю своей смелой и безудержной фантазии.

Широкими мазками рисует Лем картину первых шагов коммунистического общества. Обводнение Сахары, безлюдные заводы-автоматы, фотохимические преобразователи, в которых углекислота воздуха и вода превращаются в сахар, атомные реакторы, управление передвижением облаков, погодой и климатом и, наконец, искусственные атомные «солнца», подвешенные над полюсами, чтобы растопить льды и уничтожить вечную мерзлоту, – вся эта фантастическая техника изображена резкими, но беглыми штрихами: она нужна писателю для того, чтобы показать на этом фоне людей будущего и их приключения на страшной планете смерти Венере.

Фантастика этой книги реалистична, потому что Лем показывает осуществленным то, что планируется и создается сейчас или замышляется в близком будущем.

Многое, о чем мечтал в романе «Астронавты» автор, уже осуществлено в нашей стране: атомные электростанции дают промышленный ток, вокруг Земли летают многочисленные спутники, через которые осуществляется дальняя телефонная связь и передача программ телевидения. Космическая ракета сфотографировала обратную сторону Луны не в 1970 году, как писал Лем, а в 1959 году, и межпланетная станция совершила мягкую посадку на Луну в 1966 году. К Венере и Марсу устремляются исследовательские ракеты. Космический корабль влетел в

межпланетный простор в 1960 году, а спустя пять лет человек в скафандре вышел в свободный космос.

Так наша жизнь обгоняет самую смелую мечту.

Но, рисуя расцвет науки и техники в ближайшем будущем, Лем в романе «Астронавты» почти ничего не говорит о развитии самого общества, о его формах и отношениях людей при коммунизме. В этом романе он показал лишь фантастическое развитие научных и технических идей своего века.

Сборники научно-фантастических рассказов «Сезам» (1953) и «Вторжение с Альдебарана» (.] 959) показывают нам Лема совсем с другой стороны. Здесь его можно сблизить с Гербертом Уэллсом. Бесспорно, что материалом произведений Уэллса является наука в ее фантастическом развитии, но далеко не во всех его романах, повестях и рассказах сюжет покоится на строго научном фундаменте.

Таков и Лем во многих своих рассказах, вошедших в сборники «Сезам» и «Вторжение с Альдебарана».

В 1954 и 1958 годах вышли два сборника рассказов Лема, объединенных одним героем и единым замыслом, – «Звездные дневники Иона Тихого». Это шуточные сатирические рассказы в стиле «Мюнхгаузена» или «Гулливера». Ион Тихий – «знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч три мира, почетный доктор Университетов обеих Медведиц, член Общества по опеке над малыши планетами».

Смелая сатира, безобидная шутка, остроумная и злая пародия перемешаны в этой книге. Когда читаешь «Дневники», невольно вспоминается замечательный чешский писатель Карел Чапек и его сатирико-фантастический роман «Война с саламандрами».

Пристальное внимание к человеку, поиски положительного героя, подлинного человека будущего, – всем этим Станислав Лем особенно близок нам.

На скрещении влияний Жюль Верна, Герберта Уэллса и Карела Чапека, западной и советской фантастики, на стыке философии, кибернетики и теории информации, науки и искусства Станислав Лем нашел свое собственное, неповторимое лицо, свой стиль. Но его творчество не стало смесью этих разнородных элементов: все составные части пошли на переплав, откуда вышел качественно совершенно новый, чистый и сверкающий благородный металл.

И из этого-то благородного металла было выковано то перо, которым Станислав Лем написал книги о будущем.

«В вычислениях где-то была допущена ошибка. Они не прошли над атмосферой, а столкнулись с нею. Корабль вонзился в воздух с ревом, от которого чуть не – лопались барабанные перепонки...» Так начинается книга Станислава Лема «Эдем». Не случайно на титульном листе книги отсутствует традиционный подзаголовок «Научно-фантастический роман». Это совсем не роман, а философский или социально-философский трактат, литература в этом произведении – только внешняя форма, привычная для писателя, внешний сюжет – нечто второстепенное, а главное – тот фон, на котором ясно проступают идеи автора.

Все герои Лема, люди с Земли – координатор, инженер, физик, химик, кибернетик и доктор – вовсе лишены индивидуальных человеческих черт, все они лишь представители определенных профессий и не случайно не имеют имен. Ремонт космического корабля, их поездки по Эдему, описанные очень реалистически, – все это нужно писателю лишь для того, чтобы противопоставить реальный, логический, познаваемый мир нашей планеты фантастическому безумию мира планеты с жестоким и ироническим наименованием Эдем.

Обитателей Эдема земляне называют «дубельтами» – двойными. Это существа фантастически странные.

Непонятной и алогичной, с земной точки зрения, физиологии этих двойных существ соответствует непонятное общественное устройство. На планете осуществляется план биологической реконструкции. Направленная эволюция должна была принудительно переделать целые поколения с помощью управляемых мутаций. Но в результате на свет стали появляться личности без глаз или с различным числом глаз, уроды, безносые, неспособные к жизни, а также большое число психически недоразвитых. Такую ужасную «продукцию» решено было истребить в массовом порядке.

Это неспособное к прогрессу общество потерпело инволюцию: сначала демократическую власть заменила олигархия, власть меньшинства, затем единоличная тирания, перешедшая в анонимную диктатуру. Теперь существование всякой власти отрицалось и утверждение, что власть существует, каралось смертью.

Такое чудовищное фашистское квазиобщество, пошедшее по тупиковому пути развития, не могло вызвать у жителей Земли ничего, кроме ужаса и гнева.

Герои романа бессильны понять логику этого страшного мира, так как он чужд их Вселенной, их обществу, целостному и, по-видимому, достаточно далеко ушедшему по пути прогресса. Но читатель, живущий в расколотом надвое обществе, где существуют две логики – логика социализма и логика капитализма, – достаточно ясно понимает аллегории Лема – философа и социолога.

Роман с ироническим названием «Эдем» больше чем роман или трактат. Это философская утопия, относящаяся к разряду «черных», или «антиутопий», как их называют некоторые.

«Фантазия может навеять любые картины „черного будущего“, – говорит сам Лем, – и, собственно, много различных произведений, варьирующих эту тему, бродит по свету. В них говорится о космических войнах, о галактических империях, о хищных и кровожадных цивилизациях. Но предостерегать от такого будущего было бы в такой же степени банально, как предостерегать человека не питаться ядом».

«Я хотел бы написать повесть о будущем, но не о таком будущем, которого я бы желал, но о таком, которого нужно остерегаться. Гораздо больше опасностей мне видится в вариантах „розового будущего“...»

На эту тему и написан роман-предостережение, роман-сигнал Станислава Лема «Возвращение со звезд» – быть может, лучшее и, во всяком случае, философски наиболее глубокое его произведение.

Книга Лема – страстное предупреждение человечеству о том приятном и в то же время страшном будущем, которое его ждет, если оно пойдет по пути достижения сытости, спокойствия и мещанского благополучия.

Мир, показанный Лемом в романе «Возвращение со звезд», на первый взгляд прекрасен и гармоничен. Здания города здесь похожи на скопление стекловидных светящихся скал, от которых исходит голубоватое сияние: бастионы, хрусталь, застывший зубцами, амбразурами, ярусами, террасами. Взметнувшийся ввысь размах невероятных крыльев, а между ними колонны, созданные будто не из материи, а из головокружительного движения. Это уже не архитектура, а скорее горообразование: перейдя определенный рубеж, люди уходят от симметрии, от правильности форм и идут на выучку к величайшему мастеру – природе.

Человечество, населяющее этот мир, можно было бы назвать прекрасным, если бы у него была великая цель, кроме стремления к любви и наслаждениям. Социальных противоречий в нем как будто нет. Труд – это удел роботов. Но Лема мучит иная мысль: подмена социальных

факторов прогресса биологическими факторами.

В романе «Возвращение со звезд» каждый человек в младенческом возрасте подвергается так называемой бетризации. Операция эта на первый взгляд является вершиной гуманности: благодаря впрыскиванию определенного вещества, действующего на кору головного мозга, человек теряет способность убивать.

Это цивилизация, лишенная опасностей и страха. Все, что существует, служит людям. Угрозе, борьбе, насилию нет места. Мир кротости, мягких форм и обычаев...

Но бетризация не только благо – это и увечье. В вечной битве за жизнь, за будущее человек не победил, не закалился в борьбе, не стал сильнее и лучше. Ему просто сделали прививку – вот и все!

Отсюда – непредвиденные последствия: вместе со страхом люди потеряли и мужество. Они утратили способность защищать других, рисковать жизнью для великой цели, во имя любви и дружбы. Исчезло стремление идти вперед, интерес к другим людям, забота о них. Это мир довольства, мещанского уюта и малых дел. Никому уже не приходит в голову отдавать жизнь науке или лететь к другим звездам.

И наступает грозное социальное возмездие. Человечество вырождается. Люди даже становятся меньше ростом.

В романе «Возвращение со звезд» Станислав Лем нарисовал яркую, великолепную картину будущего, словно сотканного из пламени, цветных огней и миража. Но блестящая техника в этом сумеречном мире не призвана решать великие задачи, она служит лишь для удовлетворения мелких мещанских интересов ничтожных, себялюбивых людишек. Можно ли считать такое общество подлинно человеческим, достойным наследником нашего трудного, но героического времени?

Герои романа, выходцы из нашего времени – эпохи труда, борьбы и великих побед, – не могут примириться с этим прирученным, словно игрушечным миром. Этот мир вырождения, мир заката не только чужд им – он им страшен. И втайне ото всех они строят новый межзвездный корабль, чтобы лететь к созвездию Стрельца, к тому облаку, что лежит в центре Галактики.

Сквозь гигантскую лупу времени Лем рассматривает нашу эпоху в романе «Дневник, найденный в ванне». Это тоже пристрастный суд, как и «Возвращение со звезд», но суд над нашими современниками с позиций будущего, которое лишь незримо присутствует в книге.

Коммунизм давно победил во всем мире. Страна, прежде именовавшаяся Соединенные Штаты, ныне называется Аммер-Ку. Многие из прошлого забылось, но в Скалистых горах во время раскопок, глубоко под землей наши далекие потомки обнаруживают залитый некогда лавой так называемый Пятый Пентагон – живой реликт нашего времени, становящийся для будущего человечества своеобразным музеем Прошлого.

Из дневника «человека неогена», чудом уцелевшего во время катастрофы и найденного при раскопках, люди узнают скорбную летопись нашего времени.

Уже давно покончено с войнами, и атомная энергия, заключенная в «летающих солнцах», превращает ночь в день и лед в нежные, пушистые облака. Тучные поля бредят о скорой пышной жатве. К сверкающей синеве неба поднимаются великолепные города, пронизанные солнцем и бенгальскими огнями фейерверка. А здесь, в Пентагоне, люди продолжают по инерции плести сеть привычных интриг: поднимают с аэродромов несуществующие бомбардировщики, сбрасывают смертоносные бомбы, взрывающиеся лишь на бумаге, вербуют и перевербовывают шпионов, следят друг за другом. Лишь на их картах, в их циркулярах и доносах существуют бушующие адским пламенем взрывы водородных бомб, деревни,

выжженные напалмом, горы трупов, лагеря смерти. А мир живет, совсем забыв о них.

И вот в это призрачное здание, глубоко ушедшее в землю и населенное фантомами, попадает человек извне, завербованный пентагоновской разведкой. Чудовищная действительность Пятого Пентагона доводит его до самоубийства: ведь все, что его окружает, так же лишено человеческой логики, как на Эдеме. Но он оставляет дневник, читая который сквозь дымку времени мы видим наш мир...

О завтрашнем дне пишут у нас немало. Пишут и за рубежами социалистического мира, особенно в западном полушарии. В американской литературе, пытающейся заглянуть в третье тысячелетие нашей эры, много выдумки, есть интересные, талантливые писатели.

Авторы большинства научно-фантастических произведений если и заглядывают в будущее, то не ставят перед собой задачи нарисовать коммунистическое общество, его социальное устройство, новые отношения между людьми, семью, воспитание, быт. Такие романы – лишь проекция на близкий завтрашний день еще не решенных научных и технических проблем, не решенных, но уже поставленных и существующих в наше время, а их герои – наши современники, люди сегодняшнего дня.

Сверкающий мир будущего показан в романе Лема «Магелланово облако», в который автор вложил все богатство своего ума и таланта.

Это не приключенческий роман в строгом, старинном смысле этого слова. Это скорее произведение психологическое и философское. И поэтому его можно поставить рядом разве только с такими книгами, как «Люди как боги» и «Облик грядущего» Герберта Уэллса и «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова, в разряд современных утопий. Роман посвящен коммунистическому будущему человечества.

Изображая людей XXXII века, автор, естественно, не мог не показать и человеческие дела – развитие науки и техники, полное покорение природы. Но для него все это лишь величественный романтический фон, на котором он рисует людей завтрашнего дня.

Картину будущего общества автор пишет не розовыми красками. Это суровое время, полное борьбы и противоречий. Да, утверждает автор, человек никогда не перестанет бороться – и с косными силами природы и со своими слабостями. Задачи, которые встанут перед освобожденным человечеством, будут решаться в великой и жестокой борьбе, рождающей великих героев. Даже через тысячу лет будет существовать неразделенная любовь, останется горечь разлуки с домом, близкими людьми, родной планетой, будут возникать противоречия между людьми, слабыми духом, и настоящими коммунистами. Больше того – возникнут проблемы отношений между поколениями людей далеких друг от друга веков, сосуществующих на одной планете. Но вечным останется движение человечества вперед, стремление к завоеванию не только Галактики, но и других вселенных, и в первую очередь ближайшей из них – Магелланова облака.

Этот мир полон света, движения и жизни, одухотворен образами людей будущего – таких далеких и таких близких нам. По его дорогам, лугам и лесам можно пройти босиком, не поранив ног. В нем уже нет государств – от них осталось воспоминание лишь в названии «Праздника уничтожения границ», – и начинают стираться национальные различия между людьми. Обитатели этого мира бесконечно дороги нам потому, что они похожи на нас. Они работают, спорят, любят и отдыхают почти так же, как и мы. Но их окружает иная жизнь, где нет нужды и порабощения человека человеком, где у каждого есть собственное место, своя любимая работа, свой друг и своя любовь.

Какой же ценой оплачено это великолепное грядущее, полное страсти и сурового величия? Об этом очень образно и очень сильно рассказано в главе «Коммунисты» – лучшей главе книги.

Каковы же те люди будущего, которых рисует Лем, по его мнению, достойные наследники нашего великого времени?

Во вступлении к своему рассказу о первой межзвездной экспедиции герой романа пишет:

«В поисках смысла нашей экспедиции мы обратились к минувшим эпохам и лишь там, на трудном пути, пройденном человечеством, нашли себя, а наша эпоха, отделяющая бездну прошлого от просторов неведомого будущего, приобрела такую силу, что мы смогли двинуться навстречу победам и поражениям... Человек освоил путь к звездам, и ничто не может противостоять ему. И чем больше препятствий встречается на пути человека, тем больше проявляется его величие. Даже звезды стареют и угасают, а мы навеки остаемся. Пройдут годы, минет эпоха быстрого прогресса нашей цивилизации, перед человечеством встанут новые трудности. И тогда люди оглянутся назад и вновь откроют нас, как мы открыли великую эпоху прошлого!..»

Всех людей будущего характеризует отрывок из книги нашего времени – «древней книги», по их определению, о каком-то человеке, который был таким, как они, «одним из нас»:

«Его спросили:

– Как тебе жилось?

– Хорошо, – ответил он, – я много работал.

– Были ли у тебя враги?

– Они не помешали мне работать.

– А друзья?

– Они настаивали, чтобы я работал.

– Правда ли, что ты много страдал?

– Да, – сказал он, – это правда.

– Что ты тогда делал?

– Работал еще больше: это помогает!»

В этой неразрывности времен и эпох основная философская идея романа.

Станислав Лем четыре раза заглянул в будущее, чтобы в живых образах представить себе, что ожидает человечество. Дорога в будущее трудна и опасна, она не раз разветвляется, уходит в стороны, заводит, казалось бы, в тупик. И лишь в жестокой борьбе человечество может выйти на верный путь к коммунизму, который будет не отдыхом после труда и битвы, но великим началом подлинной и бесконечной истории человеческого рода!

Но Лем не только размышлял о будущем и набрасывал на бумаге смутные образы облика Грядущего. Он исследовал также не только околосолнечное пространство, но и всю Галактику, чтобы найти иные, нечеловеческие формы жизни. Ведь жизнь – это высший цвет материи, и она в результате развития не обязательно должна создать гоминоидов – человекообразных существ с разумом, похожим на наш.

Проблеме иных форм жизни посвящены две книги Лема – «Солярис» и «Победитель».

Странный, но необыкновенно талантливый роман «Солярис» сам Лем считает вершиной своего творчества.

– Мне хотелось бы написать что-нибудь вроде «Соляриса», – говорит Лем, – но такая удача бывает только раз в жизни!

– Ну, а как всё-таки с предсказаниями будущего? Можем ли мы сейчас увидеть хотя бы смутный облик Грядущего? – с таким вопросом к Лему часто обращаются журналисты.

– Предвидение – очень трудная вещь. Ведь мы умеем только экстраполировать то, что уже знаем, но не можем предвидеть некоторые качественные скачки, которые постоянно делает наука. Недавно я читал сообщение о новом радиоприемнике в виде монолитного кристалла. Из

самой структуры этого кристалла явствует, что он мог бы с успехом имитировать мозг, подобный человеческому, но в направлении ином, чем это делает живая природа. Сейчас один такой приемник стоит миллион долларов. А что будет дальше?

Меня лично больше всего удивляет нынешняя эволюция биологии. Мы сейчас увлечены технологией, однако мне кажется, что после эры технологии наступит биотехническая эра. Зачем корова, когда молоко может производить машина? Вероятно, вначале это молоко будет не особенно удачным, однако постепенно люди научатся изготавливать его гораздо лучше по качеству, чем то, что мы получаем сейчас от коров.

А вопрос о самом человеке? Проблемы болезней и долголетия? Нынешняя медицина еще напоминает такого монтера, который исправляет приемник, начиная его встряхивать. Только иногда, и очень редко, такие встряски бывают полезны...

Меня лично будущее не только интересует, но и тревожит...

Известно, что человек биологически не изменился за последние тридцать – тридцать пять тысяч лет, и у нас нет оснований ждать нового скачка в его биологическом развитии: темпы технической и социальной эволюции значительно опережают природу. Человек долго еще останется ребячливым, непостоянным и часто непоследовательным. Аналитической машине с совершенной логикой, которую мы когда-нибудь построим, вероятно, покажутся смешными (если она будет уметь смеяться!) некоторые человеческие поступки. Зачем марафонские состязания, когда на мотороллере можно гораздо быстрее достигнуть цели? Зачем нужны лишения и муки при восхождении на Чомолунгму, когда легче подняться туда на вертолете? Зачем вообще полеты в Космос, требующие огромных затрат? Но мы-то именно за все это и любим человечество, потому что мы – люди!

Если придерживаться терминов теории информации, то история будущего – это стратегическая игра, в которой само понятие «противник» подвергается постепенному изменению, что, в свою очередь, вызывает изменение применяемой человеком стратегии. Поэтому так трудно предсказывать будущее, даже не очень отдаленное. Загляд же на сто тысяч или миллион лет, вероятно, больше всего похож на мечты первобытной амебы о будущем своего племени в двадцатом веке.

«...На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова – огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня».

Так Станислав Лем описал памятник далекого будущего Неизвестному астронавту – низверженному, но не побежденному, ибо человеческое упорство и отвага непобедимы.

Но в то же самое время это образ человека сегодняшнего дня, потому что, как бы далеко Лем ни заглядывал в будущее, в какие миры ни заносила бы его фантазия, он всегда пишет о нашем времени и о нас самих.

Кирилл Андреев

Нос erat in votis (латин.) – это составляло предмет моих желаний.

«Шустак» – мелкая монета

Смолка Франтишен (1810 – 1899 гг.) – политический деятель в Галиции. В 1848 году стал во главе национального движения. Был приговорен к смертной казни, но помилован.

«Марысенька» – так в Польше величали красавицу жену польского короля Яна III Собеского – Марию Казимиру.

В четвертую долю листа, т. е. большого формата.

Руководство, справочник

Uhu (нем.) – «Филин».

Fin de siècle (франц.) – конец века.

Summis auspiciis imperatoris ac Regis Francisci-Iosephi (латин.) – буквально: «Действует по повелению верховных гаданий императора Франца-Иосифа». В Древнем Риме гадания имели государственный характер.

«Нипы» (от нем. Nipres) – изящные безделушки.

in hoc signo (латин.) – таким образом (буквально – этим знаменем).

Рацлавицкая панорама – панорама, изображающая битву (7/IV 1794 года) под деревней Рацлавице в Краков-ском воеводстве, во время которой польские повстанцы, руководимые Тадеушем Костюшко, победили русское войско, которым командовал генерал Тормасов. В настоящее время панорама находится во Вроцлаве.

Батьяр – уличный мальчишка, сорвиголова, что-то вроде парижского гамена.

Роман «Непотерянное время».

Сенсуальный – воспринимаемый с помощью органов чувств.

Матеевка – фуражка с маленьким козырьком и шнуром на околыше.

Мустьерская культура – археологическая культура среднего палеолита. Название идет от пещеры Мустье во Франции. Мустьерская культура относится к дородовому этапу развития первобытнообщинного строя.

Ориньякская культура – археологическая культура палеолита. Следует за мустьерской. Названа по раскопкам в городе Ориньяк во Франции.

Эскапизм (от латин. *exsceso*) – ослепление.

Любелльская Уния – союз Польши и Литвы, заключенный в городе Люблине 28/VI 1569 года.

Юзеф Ростафиньский (1850–1920) – известный польский ботаник, автор многочисленных научных работ и школьных учебников.

Имеется в виду роман «Граф Монте-Кристо».

Per procura (латин.) – милостиво.

Porte-parole (франц.) – глашатай.

Выспянский Станислав (1869 – 1907) – польский драматург, поэт, художник.

Шимонович Шимон (1558–1629) – поэт, драматург. Много писал на латинском языке: панегирики, религиозные стихи. Одно время работал во Львове педагогом.

Каспрович Ян (1860 – 1926) – поэт, драматург, переводчик. В 1889 году жил во Львове, где работал в редакции органа национального движения «Львовский курьер». В 1909–1925 годах – профессор Львовского университета.

Профессором в Польше именуют каждого преподавателя гимназии и лицея.

Перацкий Бронислав – генерал. В 1930 году – вице-премьер, с 1931 года – министр внутренних дел. Вдохновитель погромных антикоммунистических кампаний.

Исайя, Иезекииль – пророки Ветхого завета.

Spiritus flat ubi vult (латин.) – дух веет, где хочет.

Эсхатология – совокупность представлений о конечной судьбе мира и человека; учение о конце мира.

Гуральский оципок – сыр из овечьего молока, изготавливаемый гуральями.

Вибрамы – чешские туристские ботинки на очень толстой подошве.

Last not least (англ.) – не самый худший.

Comme il faut (франц.) – хороший тон, благопристойность.

Memento mori (латин.) – напоминание о смерти.

In extremis (латин.) – при последней крайности.

Трансцендентный – лежащий вне опыта.

Эруптивный – вулканический; здесь – взрывоподобный.

Сакральный – здесь ритуальный.

Декалог – десять заповедей.

Карл Май – немецкий писатель, известный своими приключенческими романами из жизни индейцев;

Джек Лондон и его роман «Сердца трех».

В прагматике – здесь: на практике.

Минускула – древнегреческое или латинское письмо, состоящее из букв строчного написания.

Маюскула – то же, но состоящее из букв прописного написания.

Инкунабулы – первые книги, напечатанные наборными буквами в начальном периоде книгопечатания и подобные по оформлению книгам рукописным.

Генерал-ключник – придворная должность в старой Польше.

Сенкевич Генрик (1846–1916) – романист, новеллист. Перу Сенкевича принадлежат, в частности, такие произведения, как «Огнем и мечом», «Крестоносцы», «Камо грядеши?» и др.

Ex ungue leonem (латин.) – по ногтю льва (сравнение русское: птица видна по полету).

Смысл сего: «Преступление, выражающееся в дискриминации документов – удостоверений».

Гомбрович Витольд – один из известнейших писателей предвоенной Польши, резко выступавший против мещанства; впоследствии перешел на позиции, враждебные народной Польше.

Ален Роб-Грийе – один из создателей антиромана, француз.

Канетти – писатель, современник Т. Манна, лет сорок тому назад написал роман, в свое время забытый, а сейчас пользующийся успехом.

Музиль Роберт – австрийский писатель.

Genius Temporis (латин.) – дух времени.

Summis Auspiciis (латин.) – сумма примет.

Лестница на небо – лестница из библейского сна Иакова.

По доверенности, по полномочию

Ариман (Анхра-Майнью) и Ормузд (Ахуромазда) – в зороастрийской религии боги, олицетворяющие злое и доброе начала.

Circulus vitiosus– порочный круг.

Credo, quia absurdum est (латин.) – верую, потому что нелепо.

Ташизм – одно из основных направлений абстракционизма, оперирующее бесформенными пятнами.

Энтропия – мера беспорядка в системе.

Энтальпия – мера энергии при тепловом движении.

Босх ван Акен (род. около 1450–1462 гг. – умер в 1516 г.) – нидерландский живописец. В творчестве Босха изощренная средневековая фантастика своеобразно сочетается с фольклорными сатирическими и нравоучительными тенденциями.

Турпизм (от палин. turp) – делать безобразным, пачкать, марать.

Анимальный (от латин. animal) – живое существо.

Прокурсорство (от латин. *procurus*) – выступление, движение вперед.

Профетичность (от латин. proficiscor) – отправляться, исходить, начинать с чего-то, брать начало, возникать.

Эпистемологический – от эпистемология – наука о познании.

Янув, Знесеньє, Пески, Лонцкого – названия улиц и районов довоенного Львова, заселенных в основном людьми еврейской национальности.

Подхорунжий – звание, примерно соответствующее старшине.

Публикуется сокращенный вариант очерка.